

II. ПУБЛИКАЦИИ

Леонид Андреев

ДНЕВНИК 1891—1892 гг.

Публикация Н. П. Генераловой

Потребность вести дневник Леонид Андреев (1871—1919) испытал довольно рано — в 16 лет, когда он был учеником Орловской гимназии, однако записи вел несистематически, на отдельных листках, которые, к сожалению, ныне считаются утраченными. Лишь в марте 1890 г. он решает завести толстую тетрадь, которой, как ему кажется, должно хватить года на два. Каково же было его удивление, когда оказалось, что через три месяца тетрадь была полностью исписана.¹

Этот первый «серьезный» дневник положил начало длительной работе, которой будущий писатель уделял, хотя и со значительными перерывами, довольно много времени вплоть до своей смерти, последовавшей 12 сентября н. ст. 1919 г. Судя по пометам на титульных листах тех тетрадей, которые имеются в распоряжении советских исследователей, Андреев планировал свой труд надолго вперед, проставляя цифры, обозначающие не только тома, но и части томов. Так, в Рукописном отделе Института русской литературы хранится одна из тетрадок с пометой «часть II»,² являющаяся продолжением I части второго тома дневника (первый том пока остается неопубликованным и недоступным для исследователей). Весь титульный лист оформлен согласно издательским требованиям, т. е. имеются имя автора, название «произведения» («Дневник»), в нижней части листа — «место издания» («С.-Петербург — Орел») и точная дата («26 марта 1892 г. — 20 сентября»). В правом верхнем углу помещен эпиграф, который воспроизводится на титульном листе и I части этого второго тома. Именно I часть второго тома дневника предлагается в настоящей публикации, подготовленная по ксерокопии, любезно предоставленной в распоряжение ИРЛИ английским ученым-андрееведом Ричардом Дэвисом.

¹ Сведения о ранних дневниках Л. Андреева содержатся в сообщении французского ученого А. Звигильского, которому удалось ознакомиться с шестью тетрадями примерно одинакового объема (немногим более 50 листов в каждой — всего 658 страниц по 150 слов). Эти тетради были предоставлены ему ныне покойным сыном Леонида Андреева Валентином. Сейчас все они находятся в Русском архиве в Лидсе (Великобритания). См.: *Zviguilski A. Le journal de jeunesse inédit de Léonid Andréev//Le Journal intime et ses formes littéraires. Actes du Colloque de septembre 1975. Genève; Paris, 1978* (далее: *Zviguilski A.*, с указанием страницы).

² ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, № 16.

Публикуемый дневник охватывает около пяти месяцев — с 3 сентября 1891 г. по 5 февраля 1892 г. Подлинник находится в Русском архиве в Лидсе, куда он поступил из собраний сыновей писателя Вадима и Валентина Андреевых.

Прежде чем обратиться к дневнику, необходимо сказать несколько слов о том, при каких обстоятельствах и по каким причинам Андреев решил обратиться к писанию дневника. В дневнике, начатом весной 1890 г., он писал, что потребность в нем была вызвана отъездом его друзей по гимназии для продолжения учебы в Москву и Петербург (сам Андреев отстал от товарищей, так как в связи со смертью отца был вынужден остаться на второй год в шестом классе).³ Однако в другой тетрадке он называет другую причину: «...решил я теперь вновь вести дневник не затем, чтоб удовлетворять (...) несуществующей потребности, а затем, чтобы пробудить известный орган функционированием его, чтоб возвратиться к жизни эту потребность, поступая так, как бы она существовала, другими словами, привить ее к себе».⁴ Называл он и другие причины, но главным, очевидно, было желание разобраться в себе, в своих противоречивых чувствах и мыслях, выработать собственное мировоззрение, отсутствие которого остро ощущал начинающий писатель. Главным было, наконец, стремление найти собеседника, которому можно без утайки поведать самые интимные переживания, проверить их важность и ценность для «другого». Внутренне дневник ориентирован на этого «другого», встречаются и прямые обращения к «читателю». Ими были, возможно, близкие друзья Андреева; давал он его читать и той, к кому обращены многие страницы ранних дневников, — Зинаиде Николаевне Сибилевой, подруге юности, близкие отношения с которой установились еще в 1889 г., когда оба учились в гимназии. Зинаида Николаевна окончила гимназию на год раньше Андреева и уехала в Петербург для продолжения учебы на курсах. С собой она увезла одну из тетрадок дневника (очевидно, за март — май 1890 г.), а уже в одном из первых писем, посланных в Петербург, Андреев выражает беспокойство по поводу того, что это чтение может произвести на нее плохое впечатление. «Ты не поверишь, как тяжело мне вспоминать о своем дневнике, о том, что ты его читаешь. Вспомнится разом какое-нибудь выражение из него, которым я еще тогда любовался за его циничность или за то, что оно ясно выражало настоящую или мнимую подлость, к которой я тогда стремился, — и станет так гадко, так мерзко. Чтобы понять этот дневник, нужно знать, в каких обстоятельствах и под влиянием какой мысли он написан. Ведь когда я писал его, я гордился той двойственностью, которая была между тем, что я говорил и делал, и тем, что я думал. Мне доставляла удовольствие мысль, что вот мол — все меня считают таким, а на самом деле я совсем иной, и для пушего удовольствия старался еще увеличить эту разладицу».⁵ Предчувствуя, что предельная откровенность и интимность написанного могут не встретить понимания, Андреев, дав обещание показать дневник, намеревается даже переписать его заново, специально для Зинаиды Николаевны, однако отказывается от этой затеи, проявив, по словам исследователя, делающего ему честь «научное отношение к литературному творчеству».⁶ Опасения Андреева были не лишены оснований,

³ *Zoiguilski A. P.* 148.

⁴ Запись от 27 марта 1892 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, № 16.

⁵ Письмо к З. Н. Сибилевой от 23 июня 1890 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 3. В Пушкинском Доме хранятся 74 письма Андреева к Сибилевой за период с 22 июня 1890 г. по 6 апреля 1902 г.

⁶ *Zoiguilski A. P.* 148.

так как в следующий раз он хотя и обещает прислать очередную тетрадку, но вскоре отказывается от своего намерения.⁷

«У Леонида Андреева, — писал много лет спустя близкий к нему Георгий Чулков, — был особый внутренний опыт, скажем «мистический» (<...> но религиозно Андреев был слепой человек и не знал, что ему делать с этим опытом. В нем и тени не было того холодного цинизма, который присущ упадочникам».⁸ Именно этот «внутренний опыт» и запечатлен в ранних дневниках начинающего писателя. В одном из писем той поры он признается, что хочет «отвлечь себя от внутренней работы, работы самоанализа».⁹ Столь внимательное отношение к своему дневнику, подчеркнуто аналитический подход к постижению собственного внутреннего мира позволяют уже на этом раннем этапе говорить о литературном творчестве, опыте работы в исповедальном жанре, который позднее найдет богатое воплощение в зрелых произведениях Андреева — от «Мысли», «Красного смеха», «Моих записок» до символически незавершенного романа «Дневник Сатаны».

Характерно, что и к своим письмам Андреев тоже предъявляет литературные требования. Так, 26 июля 1891 г. он пишет З. Н. Сибилевой: «...прошу уничтожить это письмо, как плохой образец моих писательских и умственных способностей».¹⁰ Свою корреспондентку он шутиливо просит не делать грамматических ошибок, от которых у него, «репетитора и писателя по профессии, становятся волосы дыбом и захватывает дыхание».¹¹ Он требует от нее той же предельной искренности, что характерна для его собственных писем, многие из которых напоминают по стилю и тону дневниковые записи. Эпистолярное наследие Леонида Андреева богато и разнообразно. Письма к родным, друзьям, опубликованные в разных изданиях, но до сих пор не собранные воедино,¹² могли бы раскрыть читателю новые, неизвестные ему стороны таланта писателя, в частности талант комический, столь мало воплощенный в художественном творчестве. Что же касается публикуемого дневника, то в нем преобладает трагическое настроение, граничащее подчас с отчаянием и желанием уйти из жизни. Общее мироощущение Андреева той поры определялось как объективными, так и субъективными причинами.

После смерти отца Андреева, последовавшей в 1889 г., семья оказалась в тяжелых материальных условиях. У Леонида было еще три брата — Всеволод, Павел и Андрей и две сестры — Зинаида и Римма. Мать будущего писателя, Анастасия Николаевна, оказалась человеком непрактичным, далеким от житейских неурядиц, и сыну, учившемуся тогда в шестом классе гимназии, пришлось впервые задуматься о хлебе насущном. Еще будучи гимназистом, Андреев дает уроки, пытается зарабатывать на жизнь рисованием, делая дешевые портреты с фотографий (его живописный талант раскроется в ряде картин, удостоившихся позднее похвалы самого В. А. Серова), экономит на всем, закладывает и перекладывает вещи, словом, испытывает в прямом смысле нужду, грани-

⁷ См. письма от 10 апреля, 30 июля и 7 августа 1891 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 124, 157 об.; 160 об.

⁸ Книга о Леониде Андрееве. Пб.; Берлин, 1922. С. 73.

⁹ Письмо к З. Н. Сибилевой от 30 июля 1891 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 156 об.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 155 об.

¹¹ Письмо от 13 февраля 1891 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, л. 41 об.

¹² Часть писем Л. Н. Андреева к родным была опубликована Н. Н. Фатовым в книге «Молодые годы Леонида Андреева» (М., 1924), переписка с Горьким опубликована в 72-м томе «Литературного наследства»; другие публикации либо находятся в труднодоступных изданиях, либо рассеяны в периодике.

чашую с нищетой. В таком состоянии Андрееву придется прожить годы затянувшегося студенчества и позднее, в период поденной работы в газетах. Даже в 1902 г., после выхода в свет первого сборника рассказов, принесшего ему писательскую славу, Андреев признавался: «В денежном отношении дела мои пока еще не особенно важны: приходится жертвовать своим делом и для заработка заниматься газетной работой».¹³ «Чистая литературная работа» и тогда останется для него недостижимой мечтой. Постоянная нехватка денег, полуголодное существование, забота о родных, материальная зависимость от знакомых и близких (среди которых была и З. Н. Сибилева) необычайно ранили самолюбие и гордость будущего писателя, вынужденного принимать денежные пособия «по недостаточности», ходатайствовать об освобождении от платы в гимназии и университете и т. д. Общее состояние усугублялось физическими недомоганиями (Андреев с детства страдал тяжелыми головными болями и сердечной болезнью) и унаследованным от отца пристрастием к алкоголю, от которого удалось избавиться лишь спустя много лет.

Нельзя не принимать во внимание и общей атмосферы, в которой проходил процесс формирования личности юного Андреева. Это были 80-е годы, получившие название эпохи «безвременья» и реакции, которая наступила после убийства в 1881 г. Александра II. «Мы жили и воспитывались в среде нигтиков-восьмидесятников, — вспоминал один из первых биографов Леонида Андреева, — как принято говорить теперь о людях „чеховских настроений“».¹⁴ Эпоху 80-х годов можно было бы назвать временем поколебленных авторитетов, столь велико было ощущение кризиса общественных и нравственных устоев, который так или иначе был выражен в произведениях тогдашних властителей дум — Л. Толстого и Михайловского, Чехова и Гаршина, Г. Успенского и Надсона. Сомнения во всеилии разума, в возможности разумного мироустройства, трагическое ощущение диссонансов бытия, разочарование в могуществе науки, кризис христианской этики — все это лишь углубляло природную расположенность к трагическому мироощущению юноши, жаждавшего в книгах найти ответы на мучавшие его «проклятые вопросы». Усомнившись в безусловности буржуазной цивилизации, в самом понятии прогресса, русские мыслители (Герцен, Толстой, Достоевский) подвергли глобальной критике существующий миропорядок, задав вопросы, на которые нельзя было найти однозначные, успокаивающие ответы. Уже в раннем дневнике будущий автор «Саввы» и «Дневника Сатаны» запишет, что он «непреренно завоеует себе почетное звание „знаменитого“ писателя и своими писаниями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь всеразрушением».¹⁵

Пессимистические настроения Андреева принято связывать прежде всего с влиянием на него Шопенгауэра и Гартмана, позднее — Ницше. Сочинения этих философов действительно оказали глубокое воздействие на мировоззрение писателя, но андреевский нигилизм имел и более близкие, русские корни. «Моментом сознательного отношения к книге, — вспоминал позднее сам Андреев, — считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем „В чем моя вера?“ Толстого. Это было в классе

¹³ ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 252.

¹⁴ Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912. С. 31.

¹⁵ Там же. С. 55. Эту запись Брусянин воспроизводит, очевидно, по памяти. Ср. аналогичное признание Андреева в письме к З. Н. Сибилевой от 23 июня 1890 г.: «... вот уже второй год мной завладела мысль о несостоятельности нашей нравственности, что нет ни „подло“, ни „честно“» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 3 об.).

четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естествоискусником и всем остальным. Вгрызаясь в Гартмана и Шопенгауэра, и в то же время наизусть (. . .) вы зубрил полкниги „Учение о пище“ Молешотта. К двадцати годам я хорошо знаком был со всею русскою и иностранною (переводной) литературою». ¹⁶ Неизвестно, какие сочинения Писарева читал юный гимназист, однако несомненно, что призывы отбросить «разный старый хлам» в вопросах «нравственности и житейских отношений» («что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то и хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть») ¹⁷ не могли не найти отклика в душе юного ниспровергателя устоев. Позднее Андреев признавался, что, читая трактат Толстого, взял из него только «отрицательную часть», не приняв толстовского вероучения. Не случайно и свою нашумевшую «Бездну» он назовет впоследствии «родной дочерью» «Крейцеровой сонаты».

Говоря о «литературной эмбриологии» Андреева, если использовать выражение Н. К. Михайловского, исследователи, как правило, не называют имени Герцена. Но вот какое характерное свидетельство содержится в письме Андреева: «А хорошая это вещь: убедиться навсегда, как доктор Крупов, что все сумасшедшие, много легче жить на свете становится. Так хладнокровно относиться тогда и к чужой глупости и подлости, и над собой всегда посмеяться можно. Да, я теперь окончательно убедился в этом». ¹⁸ «Нигилизм, — писал Н. А. Бердяев в „Русской идее“, — обвиняли в отрицании морали, в аморализме. В действительности в русском аморализме (. . .) есть сильный моральный пафос, пафос негодования против царящего в мире зла и неправды, пафос, устремленный к лучшей жизни, в которой будет больше правды: в нигилизме сказался русский максимализм». ¹⁹ Странно лишь, что Бердяев не называет Леонида Андреева как одного из ближайших предшественников русского персонализма, очевидно усматривая его «чужеродность» в богоборческом пафосе многих произведений писателя. Думается, однако, что в страстных отрицаниях Андреева, в его почти кошунственных выпадах против христианских заповедей и самого Христа, было едва ли не больше жажды веры, чем в религиозных исканиях русских персоналистов. Но характерно, что одним из наиболее ярких представителей этого течения Бердяев называет Писарева.

Приведем характерную запись в дневнике Л. Толстого, сделанную в 1874 г.: «Проживя под 50 лет, я убедился, что земная жизнь ничего не дает, и тот умный человек, который взглянется в земную жизнь серьезно, труды, страх, упреки, борьба — *зачем?* — ради сумасшествия, тот

¹⁶ Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911. С. 29.

¹⁷ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 110, 135.

¹⁸ Письмо от 7 января 1892 г. к З. Н. Сибилевой: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26.

¹⁹ Бердяев Н. А. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 2. С. 91. 15 марта 1890 г. 18-летний Андреев делает попытку доказать в своем дневнике, что человек по преимуществу эгоистичен: «Такие исключения, как Христос, Гус, Савонарола, кажутся таковыми лишь на первый взгляд. Если измерять глубину эгоизма (. . .) то величайшими эгоистами окажутся Гус и др., жертвующие собственной жизнью во имя собственного „я“» (цитируется в обратном переводе с французского по: Zviguilski A. P. 151). Ср. с записью в последнем дневнике Андреева: «Сейчас захотелось молиться. Но как? Но кому? Какими словами?» (цит. по: Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 46).

сейчас застрелится, и Гартман и Шопенгауэр прав. Но Шопенгауэр давал чувствовать, что есть что-то, отчего он не застрелился. Вот это *что-то* есть задача моей книги. Чем мы живем?»²⁰ В это время Толстой работает над «Исповедью».

В дневнике 1890 г. Андреев набрасывал план философского сочинения, озаглавленного им «Проклятые вопросы».²¹ Если бы это сочинение было завершено и дошло до нас, мы бы обнаружили в нем основные темы будущих произведений, как читаются они в ранних дневниках и письмах, ибо именно «проклятые вопросы» лежали в основе всех произведений Андреева — от ранних рассказов до «Реквиема» и «Собачьего вальса». Трагическая раздвоенность сознания, повышенный интерес к человеческой мысли, находящейся на грани катастрофы и останавливающейся перед непостижимой загадкой смысла и цели бытия, отчаяние и ужас перед лицом неизбежной смерти, постоянно присутствующий в жизни и творчестве писателя мотив самоубийства — все это есть в ранних дневниках Андреева. Однако внимательный читатель заметит за строками и острое чувство неудовлетворенности собой и окружающей действительностью, и бескомпромиссность в поисках истины, и страстную жажду идеала. В одном из писем той поры он признается: «...хочется всего себя отдать чему-нибудь великому, хорошему, хочется забыть в гармонии чувства и мысли».²² Сын своего времени, Андреев уже не мог пребывать в эйфории позитивизма 60-х годов с его увлечением естественными науками, не мог ощутить и духовного подъема эпохи «хождения в народ», застав народничество в глубоком кризисе; его скепсис распространяется и на зарождающиеся марксистские кружки, в которых он появляется случайным гостем; не находя в себе глубокого религиозного чувства, он отказывается принять и официальное христианство, и толстовское вероучение. Как верно писал Г. Чулков, «он был одним из многих русских скитальцев (...) Но он был сыном своего времени, он был весь в предчувствии катастрофы».²³ Вот почему дневник Леонида Андреева является не только фактом его биографии, не только позволяет увидеть в зародыше темы многих будущих произведений, но и сам по себе является документом эпохи.

Публикуемый дневник хронологически охватывает первые месяцы петербургского периода жизни Андреева, начавшегося с поступления на юридический факультет Петербургского университета, откуда он в 1893 г. был отчислен за невзнос платы. В том же 1893 г. он переводится в Московский университет, который успешно заканчивает в 1897 г. Сомнения относительно поступления в Петербургский университет не покидали Андреева еще на последнем году гимназического учения. Петербург произвел на него тяжелое впечатление. «Буйному орловцу» было тесно в каменных комнатухах дешевых пансионов. Петербург войдет в его творчество как «страшный и непонятный город» (рассказ «Молчание», 1900), в котором есть «что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое» («Город», 1902). В рассказе «Он» (1913), герой которого — студент, исключенный, как и сам Леонид Андреев, из Петербургского университета «за невзнос платы», называет свою студенческую жизнь «дешевкою студенческой борьбы за существование», а Петербург ассоциируется у него с «голодовками, пятачками и гривенниками». Этот герой, кстати, ведет дневник, находя в нем исход своему «печальному воображению, склонному к тягостным вымыслам».

²⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 48. С. 347.

²¹ См. об этом: *Zoiguiński A.* P. 150—151.

²² Письмо от 12 октября 1890 г. к З. Н. Сибилевой: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 15 об.

²³ Книга о Леониде Андрееве. С. 65.

Как никто другой, Андреев был писателем устойчивых мотивов, большинство которых присутствует в его ранних дневниках. Тяготение к резким контрастам, к противопоставлению «первой» и «второй» действительности позволяет обнаружить в его творчестве романтические корни.²⁴ Ставшее привычным определение раннего периода его творчества как реалистического с последующей эволюцией к символизму или, по другой версии, к экспрессионизму, возможно, будет поколеблено в связи с изучением дневников будущего писателя. Разумеется, это был период исканий творческого самоопределения, но именно в это время он ищет и находит исход своему воображению, своим мыслям и чувствам. Вот что он сообщает своей орловской знакомой, узнав в апреле 1892 г. о том, что его рассказ «В холоде и золоте» будет напечатан: «Это было моим первым опытом — и к счастью удачным. Теперь уж с уверенностью последую своей склонности и займусь не на шутку писательством. Я уверен, что меня ожидает успех. Я знаю себя, знаю, что я могу сделать многое, если захочу».²⁵ Пройдет десять лет, прежде чем он напишет героине своего раннего дневника З. Н. Сибилевой: «Книжка моя пошла хорошо — в три недели продано 5000 второго издания — и это освободит меня для чистой литературной работы. А литературу я люблю до смерти!».²⁶ Годы студенчества — только поиск этого единственного пути, но предчувствием его наполнены и письма и дневники вчерашнего гимназиста. «И чувствуешь вместе с тем, что дремлет в тебе какая-то великая необъятная сила, — пишет он 26 июня 1891 г. З. Н. Сибилевой, — и эта сила — сила любви. Найти бы только исход этой любви, полюбить что-нибудь так, как она того требует — и горы, кажется, с места сдвинул бы... Да что полюбить-то? Людей? Так ведь их можно только ненавидеть. Науку? Но науку любят умом, а у меня сердце, мятежное сердце ищет любви. Ведь сердце у меня чуть не разрывается от страстного, нестерпимого желания любви, а голова... голова только смеется над сердцем, над этими строками, писанными от сердца. Любить женщину? Но ведь женщина такой же человек, как и я, такой же смертный, несвободный, ограниченный, а я хочу любить то, что абсолютно, вечно, что меня, своего адепта, сделало бы бессмертным и великим».²⁷ Было бы странно читать эти строки, обращенные к любимой женщине, если бы они не принадлежали будущему писателю Леониду Андрееву. А через несколько месяцев из-за этой женщины он будет пытаться убить себя, как два года спустя совершит попытку застрелиться из-за другой женщины, пока не найдет

²⁴ «Я не делаю из этого теории, но для меня воображаемое было всегда выше сущего», — писал Андреев позднее Борису Зайцеву. Интересно, что именно этой особенностью он объясняет свое пристрастие к алкоголю: «Поэтому я, пока не сделался писателем и не освободил в себе способности воображения, так любил пьянство и его чудесные и страшные сны» (Книга о Леониде Андрееве. С. 86). В том же письме он признавался: «Сколько скучных дней и просто неинтересных людей в первой действительности (...) и чем правдивее я буду изображать, тем меньше останется правды. Ибо само слово принадлежит ко второй действительности, само по себе оно картина, рассказ, сочинение» (Там же. С. 87). Не случайно Г. Чулков определял Леонида Андреева именно как романтика: «...как человек, он был все-таки, несмотря ни на что, из той страны, из той духовной отчизны, где растет „голубой цветок“. Весь его болезненный хмель оправдывался тем, что в сердце у него всегда звучала какая-то песня „не от мира сего“». Андреев был романтиком, и романтиком своеобразным» (Там же. С. 68—69).

²⁵ Письмо к Л. Н. Дмитриевой от 28 апреля 1892 г.: Архив Орловского гос. музея, № 2634.

²⁶ ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 252.

²⁷ Там же, л. 138 об. — 139.

выход бурлящим творческим силам в литературе, которая принесет ему славу и бессмертие.

Какими бы субъективными, незначительными, а подчас и отталкивающими ни казались нам некоторые черты личности Андреева, раскрывающиеся на страницах его ранних дневников, будем помнить, что его «мятежное сердце» действительно разорвалось, как он сам себе пророчил в юности, от страстной любви и тоски по родине, отрезанной от него революционными событиями. «Революция его задела чрезвычайно, — писал в своих воспоминаниях Б. Зайцев. — Пережить ее ему не удалось. Сколько его знал я, он был индивидуалистом, индивидуалистом и ушел, писателем, за письменным столом скончавшимся от разрыва сердца. Много волновалось ведь оно и в тихие времена; бури уже не вынесло».²⁸

Тяжелый и мучительный опыт осознания своего пути, отраженный в ранних дневниках Леонида Андреева, человека, по словам Горького, «редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественного в своих поисках истины»,²⁹ дает уникальную возможность более глубокого постижения творческих истоков писательской судьбы, вобравшей в себя противоречивый и мятежный дух предреволюционной эпохи, уточнить многие факты личной биографии; наконец, этот опыт имеет ценность и как запечатленный в слове процесс нравственного и творческого становления личности.

При подготовке текста к печати соблюдался принцип приближенности к современной пунктуации и орфографии. Текстологические замечания и переводы иностранных слов даются под строкой; в угловых скобках восстанавливаются сокращенные слова, раскрываются известные имена и фамилии; в квадратных скобках даются зачеркнутые слова.

В заключение приношу благодарность Л. В. Ивановой и другим сотрудникам Дома-музея Леонида Андреева в Орле за помощь в подготовке настоящей публикации.

ДНЕВНИК

Кто беспокойному сердцу ответит?
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!..¹

Том II, часть I

3 сентября 1891 — 5 февраля 1892

3 сентября 1981. Вторник. <Петербург>.

Для меня всегда очень трудно и неприятно начинать новую тетрадку, так же неприятно, как потерять старого друга и входить в дружбу с новым. Не знаешь, как нужно и что нужно говорить, чтоб ему потрафить; кажется, что он тебя

²⁸ Книга о Леониде Андрееве. С. 89.

²⁹ Там же. С. 38.

слишком мало понимает, и много времени нужно для того, чтоб он стал тем, чем он должен быть, т. е. чтоб с одного слова он понимал весь тот ряд мыслей и чувств, который в данную минуту составляет твоё настроение.

Вот уже полторы недели, как я в Петербурге.² Да, только полторы недели — а когда вспомнишь свою мирную, тихую, беспечальную и беззаботную орловскую жизнь, начинает казаться, что прошли уже целые года, до того непохожа она, до того далека от моей теперешней, преисполненной забот, огорчений и всяческих разнокалиберных впечатлений жизни. Впечатления! Можно в Орле прожить год и не испытать их столько, сколько испытал я их здесь за немногие дни. И нечего греха таить — мало хорошего узнал я здесь. Университет, который в настоящее реакционное время можно назвать усовершенствованной, поправленной и дополненной Гимназией; Университет, который сперва отказывает мне в приеме вследствие дурной характеристики,³ а затем так же резонно принимает меня благодаря какому-то поручительству; полиция, всем заведывающая, все пронюхивающая, ибо она свой нос сует повсюду; полиция, следящая не только за поступками человека, но и за его мыслями, и не <за> теми только мыслями, которые воплощаются в свою естественную форму — слово, но и за теми, которые еще не являлись на свет Божий. Боишься не только говорить, но и думать. Каждую минуту над тобой висит дамоклов меч в виде дворника, подозрительно оглядывающего твою комнату, в виде городского, с подозрением провожающего глазами всякого студента. Я ничем не гарантирован, что даже этот дневник, которого я не даю в руки и близким мне людям, не попадет в грязные лапы какого-нибудь околоточного или сыщика.⁴ Проклятый Петербург! А тут эти петербургские новые знакомые: юноши, до ослепления увлекающиеся своим профессиональным потрошением и плюющие на остальной мир, не занятый этим «специально человеческим делом»; старцы, строящие из себя юношей...

Нет, не в силах я переламявать и себя и писать этим равнодушным и витиеватым словом. Мне скверно, страшно скверно. Скверно было вчера, еще сквернее нынче — и не знаю, как будет завтра. С одной стороны, меня мучает необеспеченность: денег мало, а уроков не предвидится, а с другой — Зинаида⁵ и я сам. Не знаю, что с нами случилось: оба чисто сбесились — ссоры, ссоры и ссоры. И оба, главное, не правы, и я, и она. Благодаря этому я страшно одинок; сперва, пока жил в пансионе у Гедройц,⁶ одинок был только душевно, так как вокруг народу много, а теперь, когда перешел на квартиру,⁷ одинок и душевно и с общественной точки зрения. Хотя Зинаида должна жить со мной вместе, но ее переезд

все откладывается отчасти благодаря ей самой, а отчасти по не зависящим от нее обстоятельствам — и я все вечера один. А это при полной неспособности к чтению и какой бы то ни было умственной работе — ужасно. И из-за чего мы ссоримся? Она любит меня, я люблю ее, а вместе с тем нами еще ни одного слова человеческого не было сказано: только брань, попреки — да изредка «поцелуй», пот(ому) что и помирившись мы не в состоянии все-таки говорить о чем бы то ни было, ибо опять рискуем поссориться. Я и себя не узнаю. В Орле я был гораздо уступчивей и благоразумней, а теперь прямо с ума сошел. Это и сказала сейчас Зинаида — и она права. Полчаса тому назад у нас была самая крупная ссора; наговорили друг другу ужасных оскорблений и расстались чуть ли не навсегда, ибо я не уверен, придет она теперь или нет. Дело вышло из-за пустяков. Она была немного не права, а я не прав совершенно. Она вела себя нелепо и дико, а я еще хуже. Я знал, что сделай я незначительную уступку — и я не был бы теперь один, не был бы один и после; не томился бы такой ужасной тоской, от которой я не знаю куда деваться, что делать с собой. Уступка эта ничего мне не стоила, но я ее не сделал, а вместо того оттолкнул Зинаиду, прогнал ее от себя, и теперь мучаюсь. Зачем я это сделал? Чем руководился? — не знаю. Я тогда сознавал, что поступаю дико, не глупо, а именно дико, но не мог поступать иначе. Я сам сделал свое несчастье.

4 сентября. Среда.

Зинаида вчера пришла; я повинился перед ней, и мы помирились, так что с этой стороны все благополучно. С других сторон есть и реальные неприятности, как, напр(имер), то обстоятельство, что я до сих пор не могу выхлопотать себе из У(ниверсите)та свидетельство на жительство и поему подвергаюсь ежедневным нашествиям докучного дворника, есть неприятности и более духовного свойства. Доставляет мне их тот же У(ниверсите)т, и состоят они в целом ряде вопросов, на которые наталкивают у(ниверсите)тская наука и у(ниверсите)тская жизнь.

Слышал я прежде, что для вступающих в Ун(иверси)тет важна в особенности первая лекция, так как она разом из мира куцой, ненаучно-научной гимназической науки с ее обязательностью и элементарностью переносит в сферу высшего чистого знания, не зависящего ни от учебников, одобренных М(инистерством) н(ародного) п(росвещения), ни от убеждений директора. И, говорили мне, переход этот так резок, так неожиданен, несмотря на долговременную подготовку

к нему, что человек сразу теряется и хлопает ушами, не будучи в состоянии сразу приспособиться и открыть уши для «нового слова». Вообще много говорили мне о том, какое дивное впечатление производит на всех У<ниверсите>т в первое время, и я, как только ввалился в У<ниверсите>т, с нетерпением стал ожидать, скоро ж это и на мне станет отражаться чудное действие у<ниверсите>тских порядков, лекций и стен. Но, увы, так и не дождался. Удивляться, действительно, пришлось многому, но ничего не нашел я ни поражающего, ни приводящего в восторг в этих лекциях и порядках. Не знаю, сам ли я еще слишком твердо храню в своем сердце Гимназию, или же те студенты, которых я вокруг себя вижу, суть не студенты, а только надевшие студ<енческую> форму и обросшие бородами гимназисты, но только пахнет, пахнет Гимназией. Уже одно то, что ум останавливается на таком ничтожном различии, как свобода куренья, доказывает, насколько ничтожны другие отличия, ничтожны до того, что их и не замечаешь. Они, конечно, есть: «милостивый государь», «имею честь читать», «прошу обратить ваше внимание» и т. п., показывающие, что к нам относятся уже не как к детям, а как к взрослым. Но неужели вся разница между Г<имнази>ей и У<ниверсите>том только в этом и состоит, и я должен радоваться, что меня, 20-летнего малого, не ругают мальчишкой и позволяют курить?

Есть еще одна действительная разница, принять которую я пока не в силах. Это то, что в Гимназии нам задавали уроки, а здесь читают лекции. Не в силах я именно понять, в чем преимущество чтения лекций перед заданием уроков. Не в том, что я в одном случае вижу мертвые буквы, а в другом слышу живое слово? Но насколько я пока слышал это живое слово, для меня много интересней и весомей мертвая буква. Прежде всего некоторые профессора представляют собой только говорильные машины и притом дурной системы, так как постоянно заикаются и хрипят. Другие же, наоборот, слишком показывают, что они люди, и так кривляются и гримасничают на своих кафедрах, что напоминают или шутов или одержимых бесами. Есть между ними середина — и это самое лучшее, что я видел, но и здесь для меня непонятно, в чем выгода лекции выслушанной или же прочитанной мной самим? И я не только, *пока*, не вижу выгоды, но вижу одни неудобства и невыгоды. Положим, что профессор читает свою лекцию ясным, внятнм языком, без перхаканий, без ненужной жестикуляции, отвлекающей внимание от предмета, он все-таки в своей прочитанной лекции не скажет ничего лишнего против того, что находится в той же самой литографированной лекции. Значит, с этой стороны

выгоды никакой нет. Если же мы заметим, что при слушании, и притом напряженном, так как, пропустивши одно слово, становится очень трудно понимать остальные, внимание не может быть продолжительным, так что к концу часа на всех лицах заметно утомление, то выйдет, что и здесь нет никакого преимущества перед чтением, при котором два-три часа незаметны. Если вдобавок обратить внимание на различные мелкие неудобства, как неудобство сидеть долгое время в одном положении, невозможность покурить, — все это отвлекает внимание от лекции. Затем, при чтении я всегда имею возможность два, три, сколько мне угодно раз, прочесть непонятое мною место, тогда как при слушании этой возможности не существует. Наконец, еще неудобство: при чтении я могу остановиться тогда, когда я уже успел составить себе ясное представление об известной стороне предмета, т. е. когда прочтенное мною стоит в голове цельным и понятным, здесь же я должен остановиться тогда, когда пробьет звонок, независимо от того, на каком месте прерывает он лекцию. Есть у нас известный сорт читателей, которые, получивши книжку журнала, прочитывают ее от доски до доски, перескакивая с романа на повесть, с повести на критическую статью, и все это ничем не связанное между собою, все неоконченное, — и мне кажется, что мы, студенты, очень похожим на них, перескакивая с римского права на политическую экономию, а с ней последней на какое-нибудь богословие.

Все мною сказанное не может относиться, конечно, к лекциям физико-математического факультета, где лекции необходимо сопровождаются опытами и где вообще приходится иметь дело не с понятиями, а с вещами. Там особь статья.

9 сентября. Понедельник.

С Зинаидой, кажется, у нас совсем кончено. Я по крайней мере не только примирился уже с этой мыслью, но употребляю все усилия к тому, чтобы не оказаться на этот раз таким же слабым, каким оказывался я прежде при подобных почти обстоятельствах. Не буду говорить о всех тех «мелочах», которые привели меня к этому — слишком уж много их, а скажу только, к каким заключениям они приводят. Зинаида прежде всего любит только себя, а меня ровно настолько, насколько я ей доставляю удовольствие. Затем она страшно избалована и привыкла, чтоб ей все подчинялись, чтоб исполнялись всяческие ее прихоти, которые она всегда считает законсообразными и справедливыми. Я же не привык подчиняться и привык исполнять только те желания других, которые действительно разумны и справедливы. Наконец, что

самое скверное в ней — это чисто женское маломыслие, благодаря которому для нее истина то, чего она хочет. Никакими словами, никакими доводами нельзя убедить ее, что она неправа, и если б она упорствовала только из желания добиться своего — а то нет, она сама искренне верит своей правоте. И в этой вере она доходит до возмутительных вещей. Так, напр<имер>, вот недавно она сказала мне такую фразу: «Вы не имеете права говорить что бы то ни было обо мне А. А.,⁸ говорить о наших отношениях» (в сущности, я вчера не сказал ничего такого А. А., что бы ему не было уже известно). Вместе с тем среди ее петерб<ургских> близких знакомых нет ни одного, который не знал бы <в> точности, что я такое; сам А. А. вчера огорошил меня заявлением, что он читал часть моих писем; что ему известны *все мои мысли, мечты и желания*. Зин<аида> не забыла даже сообщить ему о том, что мать заложила дом, чтобы купить мне велосипед, — и, конечно, придала этому якобы факту очень дурную окраску, хотя бы ей-то давно следовало знать меня, и знать, чем был тогда для меня велосипед.⁹ Вера Игн<атьевна>, Дмит<рий> Петрович,¹⁰ все знают наши отношения и все дают ей советы, как должна она вести себя со мной. Больше всего возмущает меня то, что она давала читать мои письма. Она, впрочем, и сама, должно быть, сознает всю мерзость этого поступка, пот<ому> что лгала мне и уверяла — это было давно уже, — что она никому не дает моих писем. Да всего и не перескажешь. Все это она называет мелочами, а эти мелочи доводят меня *до слез*, до сумасшествия.

Да и вот как <на> нас отражаются все ссоры и неприятности. Я вот сейчас дохожу до бешенства, быстрыми шагами иду к неврастении, пот<ому> что почти не могу уже спать, а она... она только спит лишний час или два.

18 сентября. Среда.

Мне, кажется, удалось понять наши отношения с Зинаидой, удалось найти причину тех беспричинных, как я думал, ссор, которые отравляют. Нужно сказать, что я с З<инаидой> примирился. Произошло это обычным путем. Она стала ласкова, уступчива, надавала разного рода обещаний; я хотя и не верил ни на йоту этим обещаниям, но размягчился, [видя] воображая, что она хоть вину свою сознает, и наконец уступил ввиду многих осязательных преимуществ примирения. Но со второго же дня началось повторение прошлого: ссоры, шпильки ежеминутные и т. д. На этот раз они сослужили нам, вернее мне, известную службу, уяснив наши взаимные отношения. После всякой ссоры З<инаида>, желая окон-

чательно сразить меня, говорит: «Не я первая начала!» Да, как ни горько, а приходится сознаваться, что действительно, я первый начинаю ссоры, но отсюда уже, кажется мне, не особенно трудно догадаться, на чьей стороне лежит вина ссор. Ведь ругаться я, конечно, начинаю только тогда, когда Зинаида совершает какой-либо поступок, который, как мне кажется, не к лицу любящему человеку. Так как ссоры у нас постоянные, то, следовательно, Зинаида должна очень часто отступать от своих обязанностей. Но вопрос в том, чаще ли она отступает от них, чем прежде, или же, наоборот, увеличились мои требования? И то и другое. И отступает чаще, и требования увеличились. Какое из этих обстоятельств служит причиной, а какое следствием — не скажу: вернее, они взаимодействуют. В глубине же обоих лежат такие причины: Зинаида потому чаще отступает, что уверена в моей любви, сама сравнительно любит мало и наконец имеет вокруг себя почву, благоприятную для отступлений. Я же потому предъявляю ей увеличенные требования, что 1) вижу уменьшение ее любви, [а своей увеличение], 2) что сам люблю ее больше, чем прежде, и в-3) что я здесь совершенно одинок и потому принужден все свои мысли и чувства, которые в другое время расходились бы на десяток лиц, расходовать на нее одну. Следствием коллизии этих двух направлений является то, что Зинаида с утра до ночи отступает, а я с утра до ночи пилю ее. Картина очень невеселая и притом глупая. Конечно, в результате всех ссор, каждый из нас остается правым, потому что Зинаида смотрит на вещи с точки зрения права, и с этой точки зрения она права, а я смотрю с точки зрения любви — и точно так же прав. Другими словами, мы с Зинаидой только поменялись ролями: как раз так же обстояло дело около двух лет тому назад, с той только разницей, что я толковал о праве, а Зинаида о любви.

Вот еще что нужно заметить. Если б Зинаида все время твердо стояла на правой точке зрения, с ней еще можно было бы поладить и можно было б хоть иногда разуверить ее; но в том-то и дело, что она перескакивает с своей точки зрения на всякую другую, и на мою даже, когда видит, что эта другая будет для нее удобнее. Весьма естественно, что таким образом исчезает всякая возможность найти среднее, т. е. примирение.

Большое притом значение имеет еще, помимо уменьшения любви, и характер Зинаиды. Благодаря тому, что за ней до сих пор только ухаживали, только соглашались с ней и воскурляли ей фимиамы, она теперь не терпит никаких противоречий и требует обязательного себе подчинения. Довольно-таки узкий эгоизм, выработавшийся в ней под влиянием тех

же ухаживаний, точно так же играет свою роль, и немало-важную. Если ко всему этому я прибавлю, что Зинаида очень легкомысленна, т. е. умственный кругозор ее ограничивается всегда только данной минутой, да небольшими кусочками ближайшего прошлого и ближайшего будущего, что, конечно, отнимает возможность правильного суждения и заставляет ее очень легко относиться ко всему и делать глупости, то характеристика [ее] будет до известной степени полна.

Теперь еще один вопрос: в самом ли я деле настолько сильно люблю Зинаиду, как воображаю и как воображает она, и затем, из одной ли любви проистекают мои увеличенные требования или здесь незаметно действует еще какой-нибудь фактор?

Об этом, точно так же как и о многом другом, поговорю вечером.

12 ч. ночи.

Итак, сильно ли я люблю Зинаиду? Ей-богу, не могу на это ответить. Любить-то, конечно, люблю, но в пределах умеренности, мне кажется, а что требования усиленные проистекают из другого, не совсем чистого источника. Вызваны они особенностями моего теперешнего положения: одиночеством и хандрой. В самом деле: весь почти день один, не с кем словом перекинуться — а тут приходит вечером она и или ложится спать, или читать собирается. Ну скажешь ей, что это нехорошо, что она со мной двух слов не сказала; она на это ответит, что устала, или что ей говорить не о чем, или читать хочется; я заявляю ей, что это означает недостаток любви с ее стороны и т. д. — ну и пошла потеха. В конце концов она-таки засыпает, а я как бешеный мечусь по комнате.

Отношения мои к окружающим будут таковы. С Верой Игнатьевной на ножах, верней на шпильках; она видит во мне всяческие недостатки, подозревает, что я порчу ее дружеские отношения с Зинаидой, полагает, что я ее, т. е. Веру Игнатьевну, терпеть не могу и т. п., — и конечно, ошибается. В сущности она думает обо мне столько же, сколько и о китайском богдыхане. Да и некогда ей думать: она ведет двойную, не то тройную игру, причем ее мышкам приходится очень солоно. А влюблены в нее до безумия: брови она нахмурит — готовы ей с неба звезды достать. Молодец-девица! Впрочем, она сама себе хорошо цену знает — и это ее коренной недостаток. Она забывает только, что на нее, как и на другие предметы роскоши преимущественно, цена опре-

деляется спросом, а что абсолютной ценности она не имеет. Ну да Бог с ней, она все-таки лучше многих.

Так называемые «старики», т. е. Леонид Петров(ич) Р(азумовский), Дмитрий Петрович Невст(роев) и Александр Александрович (Бодиско) относятся ко мне по-разному. Леонид Петрович, всецело занятый игрой, — он одна из мышек и притом самая несчастная, — относится ко мне безразлично; Дмит(рий) Петрович, очень симпатичный, мягкотелый, добродушный и, как все математики, не видящий дальше своего носа субъект, старается выказать мне расположение, но в душе, кажется, дурного обо мне мнения. (Этот Дмитр(ий) Петр(ович) бывший обожатель и друг Зин(аиды), которому она говорила обо мне все, нынче увлекается Коссовой, той рыбовидной девицей, о которой я как-то говорил. В его любви, как и в фигуре, много комического.) Третий, Алек(сандр) Александрович, будет самый интересный. Он умен, остроумен и свысока осмеивает всех и вся — и себя в том числе. Он бывший (?) друг и ухаживатель Зинаиды, и как я уже говорил, имевший известный успех. Встретились мы с ним враждебно настроенными [друг против друга] (впрочем, это относится только ко мне) и притом заинтересованные друг другом. Случай дал нам возможность побеседовать — в результате маленькая размолвка, хотя я говорил ему, что он мне нравится; кажется, я недостаточно уважения оказал ему. Теперь он против меня — и то слава Богу — а то все безразлично и безразлично. Зинаида с ним все еще не прекращает игры, точно так же как до сих пор не хочет помириться с тем, что Д(митрий) П(етрович) влюблен в Коссову, а М. М.¹¹ не влюблен в нее, в Зинаиду.

Варвара¹² относится ко мне довольно хорошо, но, если я умру, забудет обо мне на другой день и никогда не вспомнит. Познакомился с двумя студентами, естественниками. Один, брат Леон(ида) Петровича, представляет собой 20-летнего, бородатого младенца, с материалистическими тенденциями и самыми «естественными» взглядами. Впрочем, малый очень простой и хороший. Другой — так, ерунда на постном масле — довольно безличная личность. Р(азумовский) хочет ввести меня в один кружок, где все однородны с ним. Кружок безобидный — судя по Р(азумовскому).¹³

Довольно часто получаю письма из Орла. Получил также от Дмит(риево)й¹⁴ и от Васильевой.¹⁵ Дмит(риево)я толкует все о своем расположении ко мне, а Васильева очень наивно напоминает, вернее говорит о том, что я ей очень нравлюсь.

Мое положение таково, что его по всей справедливости можно назвать безвыходным. Наши отношения с Зинаидой обострились до невозможности оставаться дальше в таком положении. И с моей и с ее стороны была уже неоднократно произнесена вечно новая фраза: «Проклят и день тот и час, когда я Вас полюбил или полюбила». Оба мы страдаем ужасно — вернее, заставляем страдать друг друга, но не можем поступать иначе, хотя оба даем постоянные обеты исправиться и изменить все. И главное — можно сказать с полной уверенностью, что будущее не принесет с собой никакой перемены. Из этой невозможности вполне логично вытекает единственное средство, к(отор)ое могло бы избавить нас от страданий, это средство — разрыв. Но он для нас недоступен, хотя я собственно согласен был бы на него, пот(ому) что, как ни горько мне навсегда расстаться с З(инаидой), но лучше, выходит, уж расстаться сразу, чем ежедневно мучаться и в конце концов прийти к тому же самому. Вместе с тем Зинаида не может разорвать, да и я в те минуты, когда у нас нет ссор, мало чувствую себя способным на это. И вот мы, скованные какой-то невидимой цепью, должны вести ужасное, мучительное существование, без всякой надежды улучшить его когда-нибудь. Если бы вдобавок у меня не было матери — я разрубил бы посредством пули этот гордиев узел — а то ведь мать, мать-то!¹⁶ А ей-богу, убить себя было б не в пример лучше, чем жить так, как мы живем. Достаточно вспомнить о том, что я теперь чуть не каждый день дохожу до слез — да каких еще слез! Я так плакал только, когда отец умер.¹⁷ Ведь вот сейчас даже, когда мы с З(инаидой) в мире, — и теперь, как вспомню эти минуты безысходной муки, так впору только убить себя. Что делать, что делать — положительно не знаю!

Познакомился, наконец, с кружком, о котором говорил. Впечатлений получил от него много — остановлюсь из них на двух: это было что-то вроде страха. В этих бородатых, сильно фанатичных, нетерпимых людях я увидел что-то особенное, какую-то скрытую великую силу. Я одно мгновение почувствовал себя так, как должен чувствовать себя человек, попавший в клетку хищных зверей, — хотя какой там хищный зверь этот сплошно добродушный О. или вечный младенец Р(азумовский). И силы-то у них нет, да и будет она, не против же меня обращена она, а вместе с тем я струсил.¹⁸

Вторым, наиболее резким впечатлением было сознание, яркое сознание своей беспочвенности. Все они чему-то верят, к чему-то стремятся, цель какую-то видят — один я без веры, без стремлений, без цели. Я не знаю даже, как мне говорить,

за что стоять и против чего ратовать. Без догмата! ¹⁹ Да, мне смешна всякая вера, всякое увлечение, и приходится верить или делать вид, что веришь, чтобы не остаться одному, чтоб тебя мог понять хоть один живой человек.

24 сентября. Вторник.

Кажется, ведь должен быть материал для писания, по-т(ому) что ни одного дня не проходит, чтоб не явилось чего-нибудь новенького касательно моей психики — а вместе с тем не знаю, о чем сейчас писать. Должно быть, виной этому сознание, что всего не опишешь, а на чем из всего этого остановиться и что бы такое выбрать, что могло бы наилучше послужить для характеристики моего теперешнего я, — не сообразишь. Буду писать, что Бог на душу положит.

Мое несчастное, вечно изменчивое я на этот раз психопатится и чрезвычайно притом сильно, так что заставляет его обладателя подумывать о желтом доме, как о весьма возможном и естественном будущем. ²⁰ Не говоря уже о болезненной раздражительности, которая может быть и без [вредных] сильных повреждений в психи(ке), у меня являются симптомы настоящей неврастении. Меня, наприм(ер), и во сне и наяву преследует страх чего-то такого, о чем я не имею ни малейшего представления. Я боюсь — но чего, не знаю. Сегодня, напр(имер), ходил днем по улицам, довольно пустынным действительно, но не представляющим, конечно, ни малейшей опасности, — и боялся. Боялся и заводских труб — в особенности одной, из которой периодически показывалось пламя; боялся самих черных высоких стен, с заделанными решеткой окнами; боялся и всякого прохожего, но почему боялся, не знаю. Затем, что меня сильнее еще беспокоит, чем этот страх, это ощущение какой-то путаницы в голове. Чувствуется, что как будто мысли сбились каждая с своей дороги и теперь толкаются, путаются, переплетаются между собой — просто черт знает, что с ними там делается. И вся эта их путаница покрыта каким-то белесоватым туманом, из которого то выскочит на поверхность обрывок одной мысли, сейчас же снова исчезнет и заменится таким же клочком [мысли] другой мысли, то покажутся [сразу] неясные очертания сразу нескольких мыслей. Является желание удариться головой о стенку, или сделать вообще что-нибудь такое, что прекратило б этот мучительный шабаш. Совсем почти не могу читать: нужно что-нибудь особенно интересное, такое, чтоб само в голову лезло. И рисовать не в состоянии: проводишь черту — и сам не знаешь, зачем ее провел; в голове нет ясного представления о картине, которую рисую, потому так и выходит.

Ужасное впечатление производит на меня У<ниверсите>т: просто не могу его переваривать. Вот уже вторую неделю не показываю туда носа; вчера показал было, да как просидел полчаса в зале, ожидая конца лекций, — так не знал, как уйти поскорее? Скверно в особенности действуют на меня студенты. Люди они, должно быть, хорошие, а я вижу в них что-то отвратительное, что-то мне до крайности чуждое, как будто не людей даже. Я не могу и проанализировать [этой] того неприятного чувства, какое они во мне вызывают. Что касается лекций, то уже давно их не слушал. В четверг на той неделе пошел к Карееву²¹ — он читает философию истории, и читает очень хорошо, — и не чаял, когда кончится лекция, пот<ому> что мной овладела такая сонливость, как будто я неделю не спал. После лекции чувствовал себя совсем разбитым. Просто не знаю, что со мной делается.

Чувствую большую потребность в обществе, но не имею возможности удовлетворить ей.

Интересно было бы знать, какое в действительности чувство испытываю я к В<ере> И<гнатьевне>. Первое время я вполне искренне думал, что прошло мое увлечение ею — дело давно прошедших дней — и не оставило во мне никакого следа, а теперь так же искренне думаю, что если б В<ера> И<гнатьевна> захотела, я давно был бы у ее ног. К счастью, или к несчастью, но знаю, она не хочет и никогда не захочет.

В материальном отношении — скоро придется, говоря кратко и сильно, положить зубы на полку. Урока нет и не предвидится. Деньги почти все вышли, и я теперь уже одоляюсь у Зинаиды. Нечего говорить, насколько это мне приятно, тем паче что З<инаида> такой человек, что под сердитую руку не усумнится и попрекнуть этим — примеры бывали. Единственное, как я думаю, средство, которое могло бы радикально излечить меня от всех моих страданий, — это много, много денег. Сейчас же бы путешествовать!

26 сентября. Четверг.

Болван! Вот с нынешнего дня мое настоящее имя. Заслужил я его, тысячу раз заслужил, скажу без лести, и заслужил тем, что глупо, как 8-летний ребенок, поддался речам З<инаиды> и поехал с ней и для нее в Петербург.²² Теперь я плачусь за это, сильно плачусь — и поделом, конечно. Пришлось мне испытать теперь то, что еще никогда не испытывал, пришлось ознакомиться с чувством человека, считающего себя лишним. А я не только лишний, но прямо как бельмо на глазу у всех моих милых друзей и знакомых.

Удивительной вещью представляется мне жизнь вообще и моя в частности. Если даже допустить натяжку и признать «жизнь вообще» известной величиной, — что невозможно, — и в этом случае моя личная жизнь представит из себя громаднейший «X». Как я живу, чем я живу, где цель моей жизни, отчего я так сильно страдаю в жизни и так мало радуюсь — вот ряд вопросов, которые я тысячу раз решал на все лады и которые до сих пор еще в сущности остаются открытыми. А ведь каждый раз мне казалось, что эти вопросы решены мной вполне верно, и ничего уже не оставляют неразгаданным. Проходит неделя, другая — и я опять торчу над ними и опять допытываюсь, зачем это я на белом свете живу. Неужели я настолько изменчив, неужели во мне так мало того, что можно бы назвать постоянным элементом мирозерцания, что для меня никогда и ни в чем, ни в мысли, ни в чувствах, нет и не будет истины? То я ставлю себе целью сделаться великим писателем, то плюю на всяческую науку и решаю посвятить жизнь наслаждениям; то я наконец плюю и на самую жизнь и дни и ночи мечтаю о сладости смерти. Вчера я был пессимист, нынче социалист, завтра буду нигилистом, послезавтра еще каким-нибудь «истом» — и в сущности я ничто или, вернее, представляю невозможное соединение всяческих «истов». А от чего я только не страдал и не страдаю! Кажется, нет на свете такой вещи, что не причиняла б мне в свое время мучений. То мне горько оттого, что меня слишком много любят, то оттого, что слишком мало. В гимназии я с нетерпением рвусь в Унив(ерситет), в Унив(ерситете) жалею, а почему я не в гимназии. Проклинаю в Орле Орел и хвалю Питер, в Питере — наоборот. Все не по мне, все не хорошо, все не то, чего я хочу. Жажду науки, сталкиваюсь наконец с ней носом к носу и говорю: «Фу, какая гадость!» Когда люблю [жалею], завидую людям, не ведающим страстей, когда мое сердце пустует, с мольбами призываю Бога любви и требую от него утешений. Временами же я, как будто сбросив свою шкуру, становлюсь до удивления всем и всеми и самим собой довольным. И дураки меня радуют, как богатый материал для размышлений, и пошлости людской я рад, ибо она дает мне лишний повод презирать человечество, и презрение это, ужасное презрение тоже веселит меня, как будто, презирая других, я себя могу не презирать. Потом хандра и всенедовольство. И нельзя, главное, этой нелепой смены необоснованных впечатлений даже под норму подвести и причину им указать. А причина, очевидно, лежит во мне самом, ибо то, что нынче меня радует, завтра

печалит; следовательно, меняюсь я, смотрю на одни и те же вещи, как будто в очки с вечно разными стеклами. Так как, впрочем, недовольство в моей жизни вообще преобладает, то можно эту аналогию несколько видоизменить или, вернее, дополнить. Я как будто сижу в громадном фонаре, в котором те стекла, что выходят на прошедшее и будущее, окрашены в розовый цвет, а те, что обращены к настоящему, — в черный. Фонарь движется: то, что было настоящим, становится прошлым и т. д., и сообразно с этим меняют окраску свою все встречные предметы. Конечно, не один я обладаю таким фонарем, у всякого он есть. У всякого будущее, и во всяком случае прошедшее, бывает окрашено розовым цветом, а настоящее — черным, но только не в такой же степени, поистине безобразной. Да, но как бы то ни было, а ведь пренеприятно знать наверняка, что никогда, ни при каких условиях жизни я не буду счастлив или, по крайности, доволен, и всегда буду озираться назад или заглядывать вперед, пропуская все хорошее, что есть на дороге, или замечая только одни камни. Очень неприятно — и вместе с тем ничего не поделаешь: принять сейчас какое-нибудь благоразумное решение вроде того, что нет, например, ничего в мире, что стоило бы слез, и нет, наоборот, ничего такого, над чем нельзя было бы посмеяться, а потому, дескать, будем смеяться над всем и вся, — выйдет и смешно и глупо, так как решение это послужит только к вящему доказательству сейчас высказанного мной и никоим образом не доставит мне счастья. Так что приходится примириться с этим неизбежным злом, и разве только доставить себе некоторое утешение — выяснить причину того, почему это для меня так хорошо будущее с прошедшим и так дурно настоящее. Может быть два толкования. По одному я выхожу. . . как бы это выразиться поскромней. . . ну загадочной натурой, положим, а по другому совсем не загадочной, а самой обыкновенной дрянью. На самом деле: человека ничто не удовлетворяет, ни мелкие радости житейские, ни те блага, что дает ему судьба; он стремится к чему-то высшему, к чему-то такому, чему и названия нет; даже эпитафией к своему дневнику он ставит такие слова, как

Кто беспокойному сердцу ответит? и т. д. —

слова, которые, ясно, как день, показывают, сколь широки и высоки те требования, которые он предъявляет к жизни, ибо только «в вечности» [он] надеется он найти удовлетворение.

С другой стороны: всякий человек, живущий непосредственной жизнью, т. е. мало вдумывающийся в жизнь и ее явления, а только участвующий в них, всякий человек —

актер, как бы назвал я его, а не актер — зритель, всегда будет в силу своей природы смотреть на мир сквозь призму надежды и, поскольку она касается будущего, видеть его в роз(овом) свете. Между тем когда будущее становится настоящим, ему приходится разочаровываться и даже жалеть о прошедшем, из которого он помнит одно хорошее, а дурное, как всегда водится, давно уже забыл. Нечего, конечно, говорить о том, что человек с настолько развитым умом, чтоб видеть вещи в их настоящем свете, никогда не испытает ничего подобного, ибо он хорошо знает, что разница между настоящим, прошедшим и будущим только в наименовании, а по существу они одинаковы, так что все, что справедливо для настоящего, справедливо и для будущего. Меняются только виды страданий, а страдания всегда остаются. И человек, думающий, что только в настоящем он так сильно страдает, а в будущем этого не будет, просто-напросто глуп, как тысяча Дурасовых.²³

Стало быть, или я велик, или глуп как 1000 Дурасовых. Признать первого я не могу, ибо давно уже известно, что я среднего роста; согласиться же со вторым также не в состоянии, ибо тогда, для пользы отечества, я должен сейчас же убить себя. Не вернее ли будет такое толкование, третье по счету: вся нижеуказанная ерунда происходит отчасти оттого, что я, вечно экспериментируя и анализируя свой дух, приобрел неумеренную любовь к анализу всяческих своих чувствований, тогда как известно, что всякое чувство, как и всякий человек, разложившись, очень дурно пахнет. Эти же самые самоанализы да самонаблюдения настолько ослабили мою волю, что мне приходится на своей дороге мучаться над такими камешками, какие другой человек, с сильной волей, столкнет носком сапога без всяких усилий. В-третьих, наконец, я не ведаю цели своей жизни и потому так часто и неумеренно признаю за собой всякие «измы».

27 сентября. Пятница.

В прошлом дневнике я, помнится, говорил о том, что у В(еры) И(гнатъевны) есть жених. Этим именем принято было обозначать одного офицера, М. Г. По-ого,²⁴ которому она из всех своих обожателей уделяла наибольшую долю любви. Женихом же в полном смысле этого слова он никогда не был, по той простой причине, что В(ера) И(гнатъевна) никогда и не собиралась за него замуж. Их любовная история, как и все вообще подобные истории, в которых участвует женщина, привыкшая к тому, чтоб ее любили, и не дорожающая этим, напоминала игру кошки с мышью, причем

неблагодарная роль последней выпала, естественно, на долю М. Г. Человек с сильно развитыми чувствованиями и мало рефлектирующий, он всей душой отдавался В(ере) И(гнатьевне) и, понятно, требовал от нее того же, но безуспешно. Тех же крох любви, которые она бросала [ему В. И.], хватало ему ровно настолько, чтобы вечно терзаться ревностью и прочей гадостью и в конце концов дойти до неврастения. Почти всю весну он пролежал в клинике; летом В(ера) И(гнатьева) обнаружила к нему — на моих глазах, — довольно сильную (для нее) любовь — но это было последним лучом в его жизни. Затем Петербург, Л(eonид) П(етрович), В-к²⁵ и другие — и В(ера) И(гнатьевна) уже задается мыслью, что нужно еще раз порвать с М. Г. (она однажды уже делала это), а то, как бы то ни было, неловко чуточку прохладиться с другими в то время, как он там живет только ее мнимой любовью. По всей вероятности, она высказала ему в письме эти или им подобные соображения. Ответ получился такой, как и следовало ожидать: «Делайте что и как хотите: для меня в жизни ничего не остается; буду пить и на дне бутылок искать утешения». В(ера) И(гнатьевна) ожидала такого ответа, ее несколько не поразило, что из-за нее человек идет на все тяжкие, портит свою жизнь, да не только портит, а прямо хочет медленно убить себя. Она скас форменной отставкой. Сегодня получила ответ такой, как зала только «глупости!», и, кажется, отправила ему письмо и следовало ожидать, но какого она — удивительно! — не ожидала. В письме из нескольких строк М. Г. говорит, что действительно пора кончить эту комедию, в которой он играл такую глупую роль. И он кончил ее, пот(ому) что, когда В(ера) И(гнатьевна) читает его письмо, его уже нет на свете. Конечно, с В(ерой) И(гнатьевной) сейчас же нервный припадок; отправляется З(инаида) к брату М. Г. узнать, действительно ли тот убил себя, — там ничего не знают. Незвестность продолжается до сих еще пор. В(ера) И(гнатьевна) совершенно больна — больше душевно, конечно, и — о, человеческое сердце! — ее утешает некий Фен-ров,²⁶ также офицер и наиболее счастливый соперник М. Г. Бедный М. Г. — если б он это знал!

Спрашивается теперь, кто прав и кто виноват в этой драме. Как это ни странно на первый взгляд, но все присные В(еры) И(гнатьевны) и большинство незаинтересованных, но, к своему несчастью, свободомыслящих людей решат, что кругом миноват М. Г., а В(ера) И(гнатьевна) [есть невинная] чиста как голубь и есть жертва людской жестокости и глупости. В самом деле, мало ли людей может влюбиться в нее, а она каждому отвечай, а то застрелится или утопится.

Вот еще! где же тогда свобода личности, свобода чувства? [Разве] Неужели ей нужно было лгать и притворяться любящей, когда любовь прошла? Была любовь, она не скрывала, а теперь, когда ее нет, должна делать вид, что есть? И какое право имел М. Г. стреляться из-за нее и писать ей такое письмо, по к(отор)ому выходит, что она как будто причина его смерти? Подумал ли он о том, что ведь причина лежит в нем самом, в его невозможном характере и в слабости воли, и что этим письмом он заставит вечно страдать неповинного человека? О бедная жертва, несчастная страдалица!

Само собой понятно, что такое решение есть сплошная несправедливость. Дело в том, что В(ера) И(гнатъевна) не была пассивна; она не только позволяла любить себя, но даже по временам поощряла эту любовь, хотя никогда не сомневалась в том, что не может серьезно любить М. Г. Человек живет разнообразием; когда ей бывало скучно и все ее поклонники надоедали ей, она обращала внимание на всегда готового к ее услугам М. Г., доводила его до белого каления, а затем, наскучивши и им, обращалась к прежним. М. Г. принимался в расчет ровно настолько, насколько его любовь, по тем или другим причинам, была ей в данный момент приятна — а что он там чувствует, когда его бросают, насколько тяжела для него эта смена ощущений — об этом не думалось. Если он начинал говорить об этом, ему отвечали, что он отравляет другим жизнь, и старались от него отделаться. Вот и отделались. . . Кто же виноват?

Последнее время мои отношения с ней настолько обострились, что я уже решил [перестать] прекратить посещения пансиона. Но сегодня, вызванный туда письмом З(инаиды), я *принужден* был пойти к В(ере) И(гнатъевне), а там уже как-то незаметно состоялось что-то вроде примирения. Что-то дальше будет — интересно.

До сих пор нет писем из Орла. Здорова, даже жива ли мать — не знаю. Вчера получил квитанцию на 15 руб., нынче не успел еще получить. Нахожусь в недоумении, кто это посылает. Думаю, что Дмитриева.²⁷ Вот молодец-то! Я ей чрезвычайно за это благодарен, ибо деньги нужны — позарез.

29 сентября. Воскресенье.

О М. Г. вестей никаких нет. Можно предположить, что его письмо просто буффонада — но это, конечно, не меняет дела и не дает права уважать В(еру) И(гнатъевну)

Деньги, действительно, оказались от Любочки; при деньгах такое милое письмо, что за него мало расцеловать ее.

Получил письмо от матери, здоровье ее кажется ничего, но в денежном отношении положение отвратительное: не писала так долго потому, что 7 копеек на марку не было.

Дела с Зинаидой — ни шатко, ни валко — а глупо.

30 сентября. Понедельник.

Чувствую себя до одурения скверно. Не знаю, что со мной случилось — должно быть, в середине поломка какая-нибудь есть, а то иначе и не объяснишь этой в сущности беспричинной тоски. И не тоски собственно. Этим именем едва ли можно назвать то чувство, крайне неприятное чувство, которое не оставляет меня весь день. Я как будто не то потерял что-то, не то что-то ищу; сознаю, что все, что я ни делаю, глупо и бессмысленно, но вместе с тем убежден, что и все впереди будет таким же бессмысленным и глупым. У меня нет острой тоски, а есть какая-то глухая, тупая внутренняя боль, которая от самой, впрочем, ничтожной причины может перейти и в острую, мучительную. Не знаю, что с собой делать. Думал нынче о самоубийстве — да нельзя, мать. А то, ей-богу, недурно бы. Что редко случается — не только будущее, но и прошедшая жизнь представляется мне чем-то чрезвычайно поганым, до тошноты скучным и прозаическим. Ужасно прозаическим. Все эти мои любовные истории, на которых я так любил мысленно отдыхать, постоянно открывая в них, благодаря дальности времени, крупицу поэзии, освещавшей их каким-то полумистическим даже и вообще крайне интересным, загадочным светом, — эти истории кажутся мне теперь ничем иным, как только игрой разнузданного животного чувства. «Хочу тебя употребить» — вот формула, к которой все они сводятся.

Наблюдая за собой, можно иногда делать интересные выводы и заключения, касающиеся не только одного себя, но и множества других. В своем «известном» сочинении²³ я, помнится, сказал [однажды] такую фразу: «так как всякий судит людей, сам того не сознавая, по себе, то будьте уверены, что только подлец может назвать всех людей подлцами». Этим в связи с предыдущим я хотел собственно сказать, что знания и убеждения людей крайне ложны, обманчивы, ибо основываются по большей части на наблюдениях за своим я и применении найденного к другим, тогда как я-то ведь у каждого различно. С этим находится как будто в противоречии фраза, с которой я начал, что, наблюдая-де за собой, можно узнать кое-что интересное и относительно других — но это противоречие кажущееся. Почему — не хо-

чется говорить, расскажу только случай, подавший мне повод к этим незаконченным рассуждениям.

Сегодня сижу я на лекции рядом с Еланским²⁹ (скотинной) и беседую. Вдруг ему подають кошель с такого рода запиской: «Помогите товарищу, не имеющему денег для взноса за право учиться». Еланский кладет пятиалтынный, я также достаю 7 к<опеек> и кладу. При этом в голове у меня проходят такие мысли, или посылки:

1) Мне нет никакого дела до этого товарища.

2) Денег у меня очень мало, до того мало, что я отказал себе в бутерброде, который стоит всего пятак, хотя мне очень хотелось есть.

3) Я, даже в крайней нужде, не в состоянии никогда буду употребить этот способ прошения милостыни, а потому для меня не действительно правило утилитаристов: поступай так-то для того, чтоб впоследствии с тобой поступили таким же образом. Другими словами, мне нет никакого расчета класть деньги; ибо я не намерен никогда получить их обратно этим образом. Отсюда заключение: не нужно класть 7 копеек. И сделавши такое заключение, положил 7 к<опеек> в кошель. Вопрос в том — чем я руководился? Про совесть говорить нечего: раз я не только говорил, по своей теории, но чувствовал в действительности, что мне «нет дела» до других — совести не могло быть. И положивши деньги, я не почувствовал никакой радости, как это, говорят, бывает, когда в ущерб своему интересу следуешь голосу совести, — а наоборот, с чувством горести и негодования назвал себя дураком. Вместе с тем подай мне еще раз кошель, я бы еще раз положил и еще раз назвал бы себя дураком — и притом сугубым. Что же руководило мной? Страх общественного мнения? Отчасти, да; отчасти — потому, что я, будучи совершенно один, все-таки, пожалуй, положил бы деньги. [Притом] Далее, ведь меня видел один Еланский, а я, положивши деньги, тотчас же сказал ему, что сделал глупость, — все-таки сделал ее. А ведь при этом условия мой поступок лишается своей, как говорится, нравственной ценности. Почему же я так смело решаюсь говорить о том, что я не признаю нравственных правил, и в то же время поступаю наоборот, даже не влекомый к тому голосом совести, что еще могло бы оправдать меня. Нет ни одного человека, к<отор>ый бы стал, без особенной причины, говорить о себе дурно, и я, говоря Еланскому, что не признаю нравственности, вовсе, конечно, не рассчитывал повредить себе этим в его глазах, а даже наоборот. Давая же деньги, я точно так же рассчитывал на то, что благодаря этому его мнение обо мне будет хорошим. — Не в состоянии писать: в голове какой-то сумбур, не могу

даже слова подходящего найти и не могу уследить за своей мыслью.

1 октября. Вторник.

Скверно. . . И физически и духовно. Отчего скверно и в чем именно состоит сквернота — решительно не знаю. Вместе с тем не могу даже придумать, что могло бы сейчас развеселить меня. Водка? да, пожалуй, да денег тратить не хочется. Впрочем сомнительно, развеселит ли она — скорее ввергнет в «пучину страданий», глухую боль обративши в острую. Всем недоволен, и в частности З(инаидой). Знаю превосходно, что нельзя же ее держать на привязи около себя — она и то никуда уже не ходит, а вместе с тем мне очень неприятно, что ее нет сейчас дома. Главное, не будь подозрений кое-каких, а то ведь есть проклятые, хотя положительно ни на чем не основанные. Долго ли протянется это мерзостное состояние — не знаю; должно долго. Ведь у меня в жизни на этот счет какой-то фанатизм проявляется: вот уже третья осень — крайнее расстройство нерв(ов) и в особенности сильная любовь к Зинаиде. Прошлый год она в это время уезжала в Питер. Как я страдал тогда. То же самое — плакал, руки кусал себе. Потом ничего, успокоился — да другое горе, начал от усиленной умственной работы с ума сходить. Пьянка, всяческие безобразия и единственное хорошее — это Любочка да мое сочинение.³⁰ Т. е. самое сочинение ниже критики, а хорошо то чувство, с каким писал я его. Господи, что же это такое значит? Как начал вспоминать свою жизнь за год, она оказывается наполненной одним расстройством нерв, водкой да горем. Где же радость-то, где счастье? В будущем, батенька, в будущем! Где-нибудь там, далеко, далеко — около того света. . . Да, действительно, лучше, пожалуй, было б, если б З(инаида) не ездила прошлый год в Пет(ербург) — во многом он на нее дурно повлиял. И с другой точки зрения — тоже лучше. За год я или успел бы разорвать с ней, разлюбивши, и уж во всяком случае не был бы в Пет(ербурге), а в Москве, имел бы там и уроки (это не предположения, а факт) и друзей. А здесь я имею ее одну, и она, одна, от меня бегаёт. Зато свобода, свобода. . . жаль вот девать ее некуда, [ибо это] да и свобода эта ничто иное, как замаскированное рабство. Деньги — вот свобода. А самого главного права, какое дает человеку эта quasi-свобода, права умереть, когда вздумается, у меня нет.

Вот что могло бы меня сейчас развеселить: если б явился сейчас ко мне Арбузов³¹ или Ильин.³² Даже лучше последний. Помню, год назад я в этот день заявлял публике, что

у нас с Ильин<ым> все кончено — ошибся только во времени: разрыв наступил только после Рождества. А жалко, что мы с ним порвали, малый он душевный. Я <его> всегда любил — и до, и после разрыва. Гадко вот, что любовь мне только несчастье приносит — и мне, и [другим] тем, кого люблю (не вытерпел: сейчас, на середке фразы, сбегал в трактирчик, что внизу, и выпил шкалик). Вспоминается Рождество, которое мы с ним (т. е. с Ильиным, а не шкаликом... впрочем, и со шкаликом) провели вместе. Вот пили-то! — с раннего утра до поздней ночи. Помню первый день, ездили мы с ним с визитами. Были у Дмитриевой — какая хорошенькая была Любочка: раскраснелась, руку мне жмет под столом. А я-то, я!.. Недаром после Капитошка³³ передразнивал. А как он, бедняга, перетрусил на Новый год, когда со мной случился припадок бешенства и я начал все бить... Ведь он тогда насилу у меня кинжал отнял, к<ото>рым я хотел пропороть себе брюхо, да и то только благодаря тому, что мать явилась ему на подмогу. До сих пор помню его лицо, испуганное еще, с запекшимися губами, когда мы, после этого припадка уже, лежим рядом на кровати, и он с жаром, торопливо объясняет мне свое поведение за этот вечер. А мамочка, бедная мамочка... ведь я тогда ей ногу ушиб... Как она плакала, как умоляла меня успокоиться...

Какой же я мерзавец — просто ужас. А Святая и вечер у Алексея Филип<повича>,³⁴ когда я разносил все и вся? Ведь и тогда я чуть не грозил убить ее, и в то же время слушался малейшей просьбы Зинаиды. Подлец! Теперь не бывать этому: достаточно хорошо узнал я разницу между Зин<аидой> и матерью, между любовью той и другой... Помнится мне смерть Н<иколая> Евграф<овича>.³⁵ Как это было неожиданно и ужасно. Вечер, снег хлопьями падает; я подхожу к их дому: окна освещены, у одного видна восковая длинная свеча. Жутко идти по лестнице... Подводят меня к покойнику и открывают покров. Вот оно, страшное для меня при жизни лицо — как оно спокойно — видно, что улетела душа, остался один прах, тлен. Ночь: все спят; до меня издалека доносится заунывный, плаксивый [чтение над покойником] голос читальщицы: «Блажен муж, иже и не иде на совет нечестивых...» Меня тянет, страшно тянет взглянуть на покойника; иду; как падает сердце, когда вошел...

(Не могу писать; пришла Зин<аида>, она была у А<лександра> А<лександровича> — исполать ей. Жаль, мало пил. Очень, очень жаль.)

Я сейчас *вне себя*. Это не значит того, что обыкновенно под этим подразумевают. Я не в бешенстве; если оно и есть, так только *потенциальное*. Я только уже не владею собой..

Мной целиком завладели разные чувства, и в числе их такое чувство, ко(торо)е не дает мне читать: хочу что-то сделать, могу только писать да писать. Писать хоть о чем-нибудь. Не могу, не могу, не могу. С ума схожу. Вот сейчас я принял решение: порвать; если не *de jure*, то *de facto*^a мои отношения с З(инаидой). Господи, что же я за дрянной человек. Если б хоть это выдержать. Ведь единственный выход, единственное спасение от несчастья ⟨?⟩ — смерть. Дело в том, что вот сейчас, ведь я *люблю* З(инаиду), завтра все забудется, и я опять стану овечкой, к(отор)ую стригут. Не могу, не могу... Я сейчас качусь по наклонной плоскости. У меня уже конвульсивно сжимается рука, поднимается кулак, чтоб разбить. Едва сдерживаюсь — и едва ли сдержусь.

2 октября. Среда.

Сдержаться-то сдержался, благодаря тому, что постарался рисованием и чтением отвлечь мысль и руку, зато нынче с утра пью. Пью ровно настолько, чтоб поддерживать известное состояние полусумасшествия, когда маньяк с самым беззаботным видом — и здраво — толкует обо всех вещах в мире и в то же время носит в душе одну мысль, одно чувство. Это чувство, эта мысль — Зинаида. Совестно сознаться, но это так. Хотел нынче в дневнике заняться воспоминаниями — пережевывать жвачку, — но забыл, о чем хотел вспоминать.

Сейчас был у Р(азумовского). Пошел я к нему не для того, чтоб получить удовольствие от его беседы, а с единственной целью позлить З(инаиду), заставить ее чувствовать то же, что и я чувствую, когда ее не бывает дома. К [счастью] моему несчастью, она не заметила того, что меня нет дома, и сейчас преспокойно спит. Бог с ней. Вчера я настойчиво отказывался лечь с ней вместе и предложил ей разрыв; она, замявши вопрос о разрыве, сказала, что не *может* спать без меня, и этим принудила меня лечь. Всегда так! Мы смелы на словах, а на деле... Впрочем, все время был с ней до последней возможности холоден. Да, забыл совсем, о чем говорить. Так вот, был я у Р(азумовского). Как только мы с ним встретились, в 1/2 пятого, ровно до 8 спорили. Спорили о Писареве, о значении деспотизма и знаний,³⁶ обо всем в мире. Потом, уставши спорить, я стал в небольших характеристиках и очерках представлять ему картину нашей гимназии. И вот здесь, говоря без самовосхваления, я был и умен, и остроумен, и интересен. Заключаю об этом не только по

^a *de jure* — «на словах», *de facto* — «на деле» (лат.).

простому анализу того, что я говорил, но и по тому действию, какое производили мои рассказы. Соответственно тому, что я выражал в них, лицо этого милейшего Р(азумовского) выражало то страх, то сочувствие, то смех, сильный, бесхитростный смех. И это я! Это я, <нрзб.>, исподлившийся, изсамоанализировавшийся, до абсурда дошедший человек, так непосредственно сильно действовал на свежего, мыслящего человека. Вот сейчас в письме я что? Дурак! — а там я был воплощенный ум. То же было, когда я говорил с Никольским.³⁷ Не понимаю, что со мной делается, когда я говорю с другими. Как будто я лишаяюсь всего, что во мне есть.

3 октября.

Мне нынче весь вечер очень тяжело. Вот причины.

Когда перед моим отъездом в Пет(ербург) мать выражала опасения касательно того, что вот я в П(етербурге) попаду в разные недозволенные общества, сойду с «опасными» людьми и т. п., я на это отвечал ей, что она, значит, совсем не знает меня, не понимает того, что весь я — отрицание и этих обществ, и этих людей.³⁸ Но говорил так я только для ее успокоения. Это не значит, что мои слова о том, что я отрицаю эти общества, были ложью, но дело в том, что, одновременным опытом познавши шаткость и крайнюю теоретичность моих убеждений, я думал, что и здесь они не выдержат столкновения с практикой, что, другими словами, отвергая в теории всякие кружки, я на деле буду одним из деятельных членов их. Я при этом вспоминал, как, бывало, всеми силами ума ратуя против нравственности, я в жизни бывал не только отрицательно [честным], но иногда и положительно честным человеком. Я надеялся и здесь найти ту же счастливую непоследовательность, счастливую, потому что только благодаря ей я могу еще с грехом пополам жить — но, оказывается, ошибся в расчете. Благодаря тому, что у меня существует убеждение в бесцельности, ненужности [существования] жизни, у меня *собственно нет никаких убеждений*. Не все ли равно для человека, как кто и чем живет, когда, по его мнению, совсем жить не нужно? Вследствие этого при первом же знакомстве с кружком я почувствовал крайнюю, совершенную беспочвенность. Задумавшись о том, не могу ли я в чем-нибудь найти почву, я принужден был ответничать отрицательно. А без почвы нельзя. Кружок требует от своих членов не только пассивного соучастия, но и активной деятельности. А как могу я что-нибудь делать, не зная, что нужно делать? И если даже я стану симулировать их убеждения и тем приобрету возможность сознательного

действия в известном направлении, то спрашивается, что может заставить меня симулировать? Да ничто. Таким образом, мне совершенно закрыта дорога в кружки. Теперь нужно заметить вот что. Здешняя молодежь делится, по существу, на два лагеря. В одном — деятельная, мыслящая, составляющая кружки, общества и т. д. Сближение с этой частью молодежи для меня, как я уже сказал, недоступно. Во втором лагере находятся дураки, скоты и «благонамеренные». Сближение с ними для меня также [вполне], что понятно, недоступно. И я остаюсь посредине, в положении мертвеца между живыми людьми. Итак, в результате полное, неизбежное одиночество.

Весь день меня мучает *чувство*: зачем это я живу? зачем хожу обедать, [вот сейчас] пишу, ищу квартиру, хлопочу — зачем? Ну положим, что я квартиру нашел, имею возможность каждый день обедать — ну а дальше что? Читать, получать всякие удовольствия... Да, но те удовольствия, к(а)кие я еще, пожалуй, хотел бы получить, недоступны для меня, ибо у меня нет и не будет денег, а те, которые доступны, те уже и надоели мне и притом настолько мизерны, что в себе самих заключают вопрос «зачем?». Во всем, что я ни делаю, я вижу только средство для поддержки жизни, а в то же время не понимаю, решительно не понимаю, на что мне эта самая жизнь. Вот я сегодня пообедал, на один, значит, или на два дня поддержал жизнь. Ну а на что я употребляю эти два дня? На чтение? — это только средство избавить себя от скуки, на писанье? — писанье не доставляет мне удовольствия или такое же, как и дрянной обед у Дервиза, — оно только средство к удовлетворению потребности общения, точно так же как и обед — средство не умереть с голоду. Любовь, учение, водка и т. п.? Но все это только средство и средство, к(отор)ое не дает мне положительного удовольствия, а лишь дает мне жить. Но где цель, цель где?! Где, в чем это *положительное* удовольствие?! Не знаю. Нет ее. Ужасное, скверное чувство. До того скверное, что у меня не раз появлялось сожаление о том, что у меня есть мать, и даже как будто желание, *чтоб ее не было*, — значит, до абсурда дошел. А нужно это мне для того, что, не будь матери, я убил себя — и достиг бы цели. А пока мать жива, у меня не хватит решимости на это, не хватит решимости подвергнуть ее страшному горю.

Нужно жить! Вот они, роковые слова,
Вот она, роковая задача...
Кто над (ней) не томился, тоскуя и плача,
Чья над ней не ломилась от дум голова? ³⁹

4 октября. Пятница.

Скверно, скверно и скверно. Не знаю, что с собой делать.

Живя в Орле, перенося, как и все, борьбу за существование, я все-таки всегда больше предполагал о ее существовании, чем на самом деле убеждался в ней. Я ходил на уроки, нуждался иногда в необходимом, постоянно чувствовал, что я беден — но и только. Самая же скверная сторона бедности — это ежеминутная забота о хлебе насущном, постоянная мысль о том, как бы здесь вывернуться, как бы достать где-нибудь деньжонок, как бы ухитриться на 30 к⟨оп⟩. устроить обед на 7 душ — эта сторона была мне незнакома. Я трудился, получал деньги, отдавал их матери — остальное меня уж не касалось. Я свое дело сделал — а там пусть она как хочет. Был обед — я даже не замечал, что он есть, до того бывал уверен в нем; не было — я кипятился иной раз, иной раз смеялся и голодал [даже] с чувством даже некоторого удовольствия — но все это проскальзывало как-то незаметно, не оставляя следа в памяти. Иногда мать, несшая на своих плечах заботу о всей семье, начинала советоваться со мной по поводу какого-нибудь хозяйственного мероприятия, но эти копейки, эти «стирки, водовозы» и пр⟨оч⟩. тотчас же выводили меня из терпения, и я говорил ей, что пусть она делает как хочет; пусть закладывает мое пальто, если это, по ее мнению, необходимо; пусть рассчитывает Катю, и т. п. Благодаря этому я находился в блаженном неведении по части жизненных продуктов, и нисколько, конечно, не думал интересоваться, 10 или 9 копеек стоит фунт говядины. Вообще цены деньгам я совсем не знал. С каким, помню, жаром приходилось мне иногда доказывать матери, что эти 20 к⟨оп⟩., которые мне необходимы на какую-нибудь прихоть, и не деньги даже. Ну что такое на самом деле 20 коп.? Пустяки, ничтожные пустяки, о которых и говорить-то нечего! Да, и вот только теперь, в Петербурге, понял я, что стоят эти 20 коп.

5 октября. Суббота.

Когда я из пансиона переселился на собственную квартиру⁴⁰ и стал жить самостоятельно, т. е. сам должен был позаботиться и о том, где обедать, и как чайку напиток, и чего к чайку купить, во мне, вернее, в моем отношении к жизни с ее *misères*,⁶ произошла большая, резкая перемена.

⁶ нищетой, несчастьями (франц.).

(Вы меня, почтеннейший читатель, извините за слог — видите ли, я не совсем... как бы вам сказать, нормален⁴¹.) Я как-то разом постиг цену всех вещей в мире, и постиг ее крайне странным образом. Раньше у меня не было критерия ценности, а тут он у меня разом явился, и явился в очень странном виде — в виде очень скверного, грязного обеда у фон Дервиза, за к(отор)ый я платил 20 к(оп). и к(отор)ый считал чуть не «перлом творения» — в первое время по крайней мере. И вот на эти гаденькие, хотя с филантропической заправки, обеда я стал переводить все, что мне случалось видеть и покупать. Стоял ли я на берегу Невы и смотрел на снующие мимо пароходы или покупал [ли я] камашу, я думал: а сколько обедов стоит один переезд на пароходе? а сколько обедов можно купить на эти 5 рублей, которые я плачу за камашу? и т. д. Обеды! вот единственная мысль, которая владела мною, чтобы я ни делал, куда бы я ни шел. Как далек я стал от того Л(еонида) Н(иколаевича), к(отор)ый удивлялся дешевизне какой-нибудь дряни, за к(ото)рую драли с него рубль, и не мог понять, неужели это деньги, эти несчастные 20 копеек, с которыми некуда деваться? Ну, после как-нибудь об этом. Обращаюсь сейчас к тому, что все еще составляет для меня «нерешенный вопрос». Что мне делать с Зинаидой? Жить вместе решительно невозможно. Мы не понимаем друг друга. Т. е. я ее несколько понимаю, ибо, по прежней моей теории, мой круг шире ее круга, но она положительно ни в чем меня не понимает. Хотя я всегда знаю это, но иной раз становится невтерпеж, как, например, сегодня, и я ей начинаю говорить о своем душевном состоянии. Господи, что она только на это отвечает!! Просто в отчаяние меня приводит. Жить вместе так долго, и так не знать друг друга. Как и все, как и Р(азумовский), как и другой кто-нибудь, кто не знал никогда мучений бессмысленности существования, она в ответ на мои «не могу ничего делать», «не могу ходить на лекции», «не могу быть веселым» — говорит: «Это лень, это барство, это изнеженность» и т. д., не понимая того, что я душу свою отдал бы за то, чтобы *ночь*. Сегодня, как и вчера, как и все эти дни, мне было тяжело. Нужно было слово участия, нужно было видеть хоть одного человека, к(отор)ый отнесся бы ко мне по-человечески, а не с точки зрения какой-нибудь «прогрессивной теории», а тут... Неудивительным покажется, [что] если я скажу, что своим «участием» она довела меня до слез, тяжелых горьких слез. К счастью, это было в темноте, и она их не видала. Слезы, мои горькие, тяжелые, камнем на сердце лежащие слезы — хоть вы-то скажите обо мне людям, что я ни лентяй, ни шалопаи, что я *хотел бы*, но не могу.

И при таком отношении друг к другу, я сплю с ней, совершаю известный акт — ведь это проституция, крайняя, невозможная проституция. И она этого не понимает. Своими словами показавши, как мы далеки друг от друга, она вслед говорит: «Линочка, пойди, поцелуй меня!» — и думает, что все размолвки кончены, что от них и следа не осталось. Поистине счастливый и завидный человек!

Я не знаю, люблю я ее или нет. Но я настолько все это время ненормален, что вопреки разуму, логике предъявляю ей ни с чем не сообразные требования. Быть все свободное время со мной, во мне одном находить *все* — вот чего я хочу от нее. Насколько эти требования дики и вредны самому мне, об этом свидетельствую сам я в прошлом дневнике.⁴² Вот подлинные слова: «Все несчастье в том, что я не люблю Зин(аиду) и потому мне страшно тяжелы все ее, иногда ни с чем не сообразные требования. Требования эти в главных чертах состоят в следующем: я должен все *свое свободное время* посвящать ей одной; во-вторых, обязан избегать всех барышень вообще, а Наталии⁴³ (Ал. Ал.!) в частности. С последней я даже не должен разговаривать». Далее я говорю о том, что эти требования окончательно заставляют меня разлюбить З(инаиду). Теперь то же самое, только ролями поменялись. Впрочем, я, кажется, уже разлюбил ее.

Давно ни один роман не производил на меня такого сильного, жизненного впечатления, как роман Эртеля «Смена».⁴⁴ Я сейчас положительно выходил из себя, ругался как сапожник и чуть не плакал. Когда читал то место, где Мансуров уехал в театр, а она отдается, глупо, бессознательно, Рогову. Ах, подлая, подлая! [Роговым] Кретовым я быть уже не могу, а Мансуровым отчасти себя чувствую. Просто не могу я этого переварить. Отдалась! отдалась без любви, под минутным впечатлением, спьяну — а он, этот дурак Мансуров, небось все время только и думал о ней, о подлой. Ух, какая гадость! Не знаю, я б ее убил, убил, как собаку.

7 октября. Понедельник.

Вчера мы с Зин(аидой) разделились. Мы убедились и взаимно убедили друг друга, что наша совместная жизнь обходится нам очень дорого — в денежном отношении конечно, а (я) думал про себя, что и в моральном тоже. Оказывалось более выгодным, если она будет жить в пансионе, а я найду себе где-нибудь поблизости комнатку. Так мы решили, так и сделали. Вчера весь день потратили на переезд. Господи, вот несчастье-то этот переход с квартиры на квартиру, и смех и горе. Приходится скрючившись ехать на из-

возчике, вокруг тебя и под тобой чемоданы, а в руках — в одной жестянка с керосином, а в другой лампа. Итак, я живу теперь на В(асильевском) о(строве) на четвертой линии, в мансарде.⁴⁵ Комнатка, несмотря на свою возвышенность, очень уютненькая и напоминает мне наш [свой] дом. Разделом я доволен: мне слишком надоело мучиться из-за Зин(аиды), и в этом разделе я вижу средство уменьшить количество этих мучений. Кроме того, я в нем вижу шаг к разрыву. Как бы [часто] ни хотела часто ходить ко мне Зинаида, связь, которая у нас главным образом состояла в сожительстве, будет порвана.

Вчера вечером был очень сильно пьян; поэтому сегодня весь день страшно болит голова. Но самое скверное — это зубы. Такая невыносимая боль, что не знаешь, куда деваться. Писать не могу. А тут еще сейчас домой писать нужно. Получил от матери письмо. Дома все благополучно. Была еще раз Дмит(риева), и в свою очередь мать была у них. Превозносит Дмитриеву до небес.

8 октября. Вторник.

Началось то, что я и ожидал. Хотя я еще до перехода заявил, что в пансион буду ходить редко, и получил ответ, что З(инаида) сама будет ходить ко мне, теперь она требует от меня, по праву и справедливости, изменить это. Я, будучи также правым, так как у меня есть свои <причины> не ходить — и причины уважительные, отказываю ей в этом. Отсюда неприятности.

Во-вторых, я раньше указал на неудобство хождения ко мне Зинаиды, именно на необходимость провожать ее. Она сказала, что этого не нужно. Теперь же она этого требует, во имя опять-таки справедливости. Хотя мне было очень жалко оставить ее одну, очень жалко, но я все-таки не пошел. Одна уступка влечет ведь за собой десяток других. Пойди я нынче провожать, через неделю я должен буду ежедневно ходить в пансион и, таким образом, на ее стороне окажутся все выгоды разделения, а на моей все невыгоды. Выйдет хуже еще, чем когда вместе жили, а за это покорно благодарю. Последними словами Зинаиды было: «Бог с тобой, оставайся!» — и эти слова до сих пор звенят у меня в ушах, хотя я по-своему прав. Когда Зинаида от меня *требует* и *оскорбляет* меня — я непоколебим, но когда она обращается к сердцу, я едва могу устоять. Вот теперь мне ее ужасно жалко, хотя она давно, глядишь, уж забыла об этом и спит. Во всяком случае теперь у нее любви больше, чем у меня.

Состояние весь день довольно скверное. Много этому способствует неразрешимый вопрос «чем жить?» С голоду умереть не умру, а унижаться и обязываться придется, ох, как много придется!

Скотина Арбузов, до сих пор не отвечает, а я ему около трех недель тому написал. И Ильин хорош с своим молчанием. А последняя мысль все-таки о Зинаиде. У Веры И<гнатьевны> тиф. Очень скверно.

9 октября. Среда.

Настроение относительно сносное, абсолютно же — дурное. Как будто чего-то недостает. Все время в голове мысль о деньгах. Как ни стараюсь экономить, плывут, между пальцев плывут. Хотел было ограничить себя касательно еды — да не могу. Аппетит как на зло волчий, и как начнет брюхо подводить, не в состоянии терпеть.

Зинаида сегодня больна. У нее регулы всегда сопровождаются сильной болью. Пришлось нынче быть в пансионе и протосковать около З<инаиды> больше двух часов. Не умею я с больными обращаться. Слишком я эгоист и любви мало. Вообще, час от часу не легче. Как все это надоело, о господи, а перемены ждать неоткуда. Т. е. она всегда может быть, только к еще худшему. И это называется жизнью.

Получил от Алекса<ея> Петровича <Арбузова> письмо. Письмо умное, но едва ли в нем видна дружба. И тон какой-то свысока снисходительный. Обращать, впрочем, на это внимания не буду, напишу ему по душам. Пить стал бы — да не на что пить. О распроклятейшая бедность — никогда, видно, мне от тебя не отделаться. Вечно нуждаться, вечно подавлять свои потребности, вечно быть рабом всего и всех — вот мой удел, удел бедняка. А сил на борьбу нет. Большая я дрянь.

21 октября. Понедельник.

Все время, за исключением последних трех или четырех дней, чувствовал себя хорошо. Причиной этого было то, что я в видах приобретения денег принялся писать. Писал с увлечением. Сперва взялся было за роман, но он оказался слишком длинным; тогда я написал небольшой очерк. Снес в «Неделю» — только через три недели результаты известны будут.⁴⁶ Сегодня же чувствую себя необыкновенно скверно. Причина — Зинаида. Написал ей нынче письмо, [что] с просьбой о разрыве,⁴⁷ думал, что она хоть на минуту зайдет, но она не пришла. А у меня еще вдобавок денег нет:

вчера обедал за 10 <коп.>, а нынче совсем не обедал, да и завтра то же придется. Вот когда с голодом познакомимся-то. Если у нас с Зин<аидой> и дальше пойдет так же, я не ручаюсь, что дело не кончится смертью одного из нас. Ах как скверно! прямо хоть руки на себя наложить.

1 ч<ас> ночи.

Невыносимое состояние. Одна только мать удерживает от самоубийства. Ни писать, ни читать не могу. Зинаиду я сейчас ненавижу так, как только можно ненавидеть человека. Она, одна она причина этого состояния. А что если и завтра она не придет? Куда мне деваться, чем заглушить тоску? О водке противно думать, да откуда и взять ее, когда на хлеб денег нет. Неужели опять такой же мучительный вечер, как нынче? Не вынесу, ей-богу, не вынесу. И пойти некуда. Вот оно, одиночество-то настоящее. Ведь главное, я люблю Зин<аиду>, мучительно люблю. И в то же время чувствую себя способным убить ее, — в особенности, как подумаю, что в то время, как я обдумываю в деталях план самоубийства, ибо больше ни о чем думать не в состоянии, она в это время смеется, разговоры разговаривает. А что если она согласилась на разрыв? Иначе я не могу допустить такой жестокости. Ведь она *знает, знает*, как мне скверно, если я написал такое письмо, и не пришла. Пошла вместо этого на какие-то чтения, совсем ненужные ей. В субботу то же. Я тосковал, пил водку, для того чтоб *заставить* себя писать, а она, она сперва наслаждалась разговорами с влюбленным в нее Соколовым,⁴⁸ а потом пошла к А<лександр> А<лександрович>, с которым я просил ее раззнакомиться. Вчера то же. Как тянулся день, как медленно проходили минуты до 6 часов, когда она [обычно] всегда приходит, — она пришла в 1/2 седьмого. Всего на полчаса опоздала и по уважительной причине — чай пила. Не могу же я заставить ее отказаться от пищи. Да, а я в эти полчаса, всего полчаса, дошел до *plus ultra*^в отчаяния. И пришла, радости мало. Легла, я кожу; удивляется, почему я такой холодный, иронизирует, показывает равнодушный вид, а там Хлобошин⁴⁹ с Варварой, смех, шутки — и над моим расстроенным видом тоже, — там водка, беспамятство. Хоть бы одно ласковое слово, хоть бы крохотную долю любви — нет, ничего. Самолюбие, если хотите, есть, есть сознание своей правоты, а любовь — за что любовь? За то ли, что я «систематически отравлял ей каж-

^в крайней степени (лат.).

дую минуту». Ведь я ее замучил. До того ее каждый вечер расстраиваю, что только спать способна становится. А я, который и спать не может? Сам виноват: что же ей поделывать, если я такой придира, из-за всякой мелочи на стенку лезу. Не пришла на полчаса раньше — сцена. Она и то разорвалась: и там будьте с В(ерой) И(гнатьевной), и сюда не опоздайте, лекции, уроки. А тут еще нужно к Соколову пойти, нельзя, обещала, а тут у В(арвары?) новоселье. Положим, мне тоже было обещано, да ведь у нас «обещания разве имеют значение — мы свои люди», обещано было, что в Питере я найду с ней счастье. Обещано, что с А(лександром) А(лександровичем) раззнакомится, обещала, что будет у меня каждый день бывать, обещала обо мне заботиться, как мать о сыне. «Как я могу отпустить вас в Москву — чтобы постоянно думать, что вы не евши сидите?» Друг ты мой, да вот я за одну улицу от тебя не евши сижу — ты чувствуешь это? До того ли! Да и здесь опять-таки сам виноват: языка что ли нет попросить? Дитя не плачет, мать не разумеет. Верно и это. Мне так и следовало: отдавши письмо с просьбой о разрыве, попросить заодно двугривенный. Замечательно оказывается просто. А еще бы проще выйти прямо на улицу и протянуть руку — Христа ради. Господи, как убийственно долго тянется время! Хоть какую-нибудь живую душу — а то с ума сойду. Нет, тихо все; все спят. Спит и Зинаида. Сладкие сны видит. А тут еще грудь невыносимо болит. Нет, с болью легче. Отвлекает внимание. Жалко мне маму. Бедная она, бедная. Ждет меня не дождется, одна, небось, теперь меня во сне видит. Ну как убить себя? Дождалась — привезли сына, холодного, мертвого. Нет больше сына. Нет больше и жизни. И ради кого, ради кого убью я эту бедную, несчастную, больную маму? Я не могу, не могу, господи, да за что же это!

22 октября.

Опять мучительно тянется день. Грудь еще не переставая болит, слабость какая-то: как выкуришь папиросу, так голова страшно кружиться начинает. Отчего, не знаю. Во всяком случае не от того, что я не ел вчера — мне совсем есть не хочется. Каждая минута равна часу. Через каждое мгновение взглядываешь на часы — и даже отчаиваться начинаешь. Со всем не двигается стрелка. А чего жду, и когда конец этой каторге? Нету конца. А вечер еще, а завтрашний день, а там еще целый ряд вечеров и дней. . . Болит собственно не грудь, а сердце. Вот если б разорвалось-то само. Каким я стал сентиментальным — смешно даже.

17 ноября..

Прошел почти месяц, как я последний раз писал в дневнике — но это не значит, что я забыл тебя, голубчик дневник, или больше не нуждался в тебе. Нет, все время помню, а не нуждаться в тебе не могу по той простой причине, что потребность делиться горем и радостью у меня всегда останется, а удовлетворять этой потребности при посредстве людей никак нельзя. Нельзя потому, что у всякого человека есть свои особенные радость и горе, что всякий человек способен понимать лишь то, что к нему относится, — а ты, дорогой мой дневник, ты безличен, у тебя нет своего, и потому ты можешь понимать мое.

Плохо, брат, мне теперь живется — теперь, как и всегда. И все по-разному.

18 ноября. Понедельник.

Довольно интересная вещь для характеристики здешнего студенчества.

Всех здешних студентов можно поделить на две группы: одни — шпагисты, как их здесь называют, т. е. совершенно пустые, ничтожные фаты или щедринские пескари — вообще дрянь во всем ее разнообразии. Вторая группа составляет красу и гордость У〈ниверсите〉та как такового — и вот о ней я хочу поговорить.

Я как-то — как я уже писал — был в одном кружке и вынес оттуда сознание своей беспочвенности — беспринципности.⁵⁰ Благодаря этому я сперва не хотел поступать в кружок — по незнанию я приписывал ему действительное значение, — но потом, основательнее ознакомившись с его членами, я увидел, что кружок в сущности не представляет собой развивающего начала в нашей жизни, а служит началом специализирующим. Вследствие этого я подумал, что могу сослужить в нем пользу своей именно беспринципностью — до известной степени только кажущейся — и своей разносторонностью, хотя дилетантской, но достаточной для того, чтобы внести в кружок свежую струю. Я видел в его членах, в целях кружка, в его деятельности — если можно назвать этим именем чтение и редкие споры — видел крайнюю узость и односторонность; к ним примешивалась еще одна сквернейшая черта всякой тесно сплоченной, „изолированной от жизни“ агрегации или секты, именно нетерпимость к мнениям и взглядам, несхожими с ее взглядами, — но я объяснял это тем, что кружки состоят почему-то из одних естественников, т. е. людей с одинаковым приблизительно [знаниями] мирозозерца-

нием, и в силу этого, вместо того чтобы служить для взаимного развития, служат только к большей специализации и односторонности. Не стану говорить, в чем выражалась эта односторонность, — слишком долго было бы рассказывать.

29 ноября.

Я не забыл дневника — о, нет! он всегда останется моим наилучшим другом — но я не могу писать, одно это слово «писать» наводит на меня ужас. Я хотел бы иметь такого друга, которому мог бы *говорить* — говорить, а не писать. Теперь, в противоположность прежнему, я хорошо говорю и плохо пишу. Мое перо не поспевает за мыслью, или у меня столько мыслей, что передавать все их письменно — каторжный труд. Вот поэтому я с таким нетерпением жду Орла, пот(ому) что там буду иметь возможность *выговорить* все, что терзает мой ум и душу.

Скверно, ах! скверно в Петербурге. В Орле лучше было. Действительно, я нахожусь в «центре умственной жизни России», но если это центр — то несчастная Россия, воспитывающая как лучших своих сынов фанатиков и изуверов свободы, в стремлении к ней подавляющих всякую истинную свободу.⁵¹

Написал я два письма! Одно к Любочке, другое к Ильину.⁵²

Что такое произошло с ней? Когда она прислала деньги, я ответил ей письмом — но до сих пор на это письмо нет ответа. Почему? 16-го они, т. е. Любочка и Наталья, были у матери.⁵³ Неужели Наталья что-нибудь сплела касательно меня? На это она способна. И неужели Любочка поверила? Этого я не могу допустить. . . Почему же она молчит? Она не знает, как это действует на меня. Сегодня же напишу ей.

А Ильин? Ах какая *подлость*! Вот уже второе письмо пишу я к нему — и прошу извинить меня, говорю, что я по-прежнему люблю его и дорожу его дружбой — а он? Он не считает нужным ответить мне. Господи, я готов заплакать. Какие ужасные эти люди. Рассчитываешь на них, надеешься — а они. . . Я ведь не шутя люблю Ильина, с ним связаны лучшие воспоминания в моей жизни. Но за что это? За что? Арбузов тоже. . . Нет — видно одному мне переносить все, видно пора мне туда — пора разложиться моему телу и разложиться душе!

Очень я себя скверно чувствую. Настолько скверно, что не знаю даже, в чем эта сквернота состоит. Нет определенного предмета, который меня заставлял хандрить — а только о чем ни подумаешь, все такой гадостью кажется. . . А всем гадостям гадость — это я сам. И чего мне нужно? Водки не хочу,

любви не хочу, людей насилу перевариваю, а один оставаться совсем не могу. Читать не хочется, писать не хочется, говорить не хочется — а без дела оставаться не в состоянии. И что делать — не знаю. Умирать нет желания, нет желания и жить — а вместе с тем я полон какими-то желаниями — а о чем они, не знаю. Нужно убивать время — и нечем убивать. Да и живуче оно слишком: убьешь один день — на смену ему идет другой. И сколько еще впереди этих дней и ночей, которые нужно убивать. И что это за глупость: жить, чтобы умереть; умирать, чтобы жить. А для чего и жить и умирать? Собака, которая крутится на одном месте, стараясь поймать свой хвост, — вот что значит жизнь и смерть.

6-го или, вернее, 7-го декабря.

Сейчас были у меня студенты Электротехнического института, и я им поведал то, что не говорил даже более близким, как, напр<имер>, Родину <?> и другим. Студентам — а почему? а потому, что я чувствовал себя гораздо ближе к этим студентам, чем к тому же Родину; здесь же, например, я сознаю, что ежели, напр<имер>, я скажу, что я хочу выпить рюмку водки, то получу ответ: не смейте! Это неправда! Я хочу *пить*, я, следовательно, имею право пить, но дело в том, что даст мне З<инаида> Н<иколаевна> это право или нет. Ах, Зиночка, Зиночка, люблю я тебя страшно, и ты не можешь представить, чего стоит мне ходить к тебе и изнывать, где ты. Постараюсь написать поправильнее, чтобы ты, Зинутко, сказала, что я люблю тебя — но не затем сказала, чтоб А<лександр> А<лександрович> это подтвердил, но затем, чтобы ты не вздумала изменить мне, ради того же самого А<лександра> Александровича.

Прости, Зинуточка!

15 декабря. Воскресенье. <Орел>.

Вот уже неделя, как я выехал из Петербурга. Да, только неделя, а представляется, будто я никогда не выезжал. Первых два дня, как приехал домой, было все несколько дико и чуждо, а теперь совсем вошел в колею. С утра до ночи пью, пью без просыпа, верчусь с барышнями, стараюсь, *как прежде*, за ними ухаживать, не вижу, как проходит день и ночь, получаю массу впечатлений и т. д.

И что самое главное — во мне опять пробудилась любовь к женщинам, чего в Питере не было. Опять я мечтаю (я этому очень рад, это напоминает мне мое прошлое, милое, дорогое прошлое), да, опять я, как 18-тилетний мальчуган,

мечтаю о барышнях, глаза которых показались почему-либо лучше других, опять огорчаюсь при мысли, что *она* предпочтет меня другому, ^г опять жажду ласки, поцелуев, опять перед сном перебираю все те действительные и показавшиеся только мне случаи, когда она ласково взглянула на меня и т. п. — опять я молод. Ах, как хорошо быть молодым! как хорошо обладать свободным сердцем, не отданным никому сердцем, когда ты любишь весь мир, когда этот мир не успел для тебя олицетвориться в одном человеке. . .

Зинаида. . . Тяжело мне было с ней расставаться. Казалось, что от меня отрывается часть меня самого. И удивительно: за все время я никогда не хотел другого поцелуя, другой ласки, кроме Зиночкиной — а теперь мне хотелось бы поцеловать. . .

Да мало ли что! Времени прошло мало, а я совсем другим стал. . .

И вот все время стоит перед глазами лицо З(инаиды), когда она, провожая меня, чуть не плакала, а я давал ей обещание не изменять. Не изменять — да разве это возможно! Можно было <не> изменять, когда я в Пет(ербурге) видел только один свет — в З(инаиде), а теперь? теперь, когда я почти забыл, под влиянием водки и впечатлений, что есть З(инаид)а, можно ли теперь не изменять?

А вместе с тем не выходит из головы мысль о самоубийстве. И стоит в голове так действительно, так ясно. . . Только когда я сильно пьян, как сейчас, чувствую я известное удовлетворение, а то. . .

. . . Умрешь, похоронят, как не жил на свете
Не встанешь, как прежде, к веселью друзей. . . ⁵⁴

19 декабря. Четверг.

Вот опять я нынче пьян, и даже очень пьян, несмотря на то что совсем не хотел пить. И опять я чувствую себя молодым, но не столько, как прежде. Не знаю, что со мною — но только минута одна была, когда я почувствовал себя непосредственным, чуждым всяких анализов, самоугрызений человеком, и эта минута, увы! прошла. Опять я тот же, тот же, несмотря на всю выпитую водку, несмотря на все сказанное и услышанное мною. Чего мне недостает, где тот фактор, что делал меня ребенком, что прививал ко мне это детское мирозерцание, в котором главную роль играет «нравится», «не нравится», — не знаю. А минутами, правда, я становлюсь ре-

^г Так в тексте.

бенком. Мне донельзя хочется поцеловать другого ребенка — Женичку.⁵⁵ Как она хороша! Как бы желал я хоть на минуту прильнуть губами к ее не ведавшему ничьих поцелуев личику, к ее маленькой ручке.

Милая! Слов не хватит описать мое чувство при виде тебя! Всё, волосы твои, твои чудные глазки, твоя грудь, фигура — всё пробуждает во мне новое, вернее, старое чувство, которого я давно уже не испытывал. Чего я хочу, на что я надеюсь — не знаю; но я хочу, я надеюсь и я получу свое. А потом . . . потом опять свое. Опять пессимизм. Опять собачья старость. Опять дни без света, ночи без радости, опять этот противный полумрак, в котором я принужден проводить свою жизнь. Не думай, Зинулочка, — я знаю, что ты будешь читать это место и простишь меня, — не думай, что я жалею на тебя или что я жалею о своей любви к тебе — о нет! без этой любви меня давно, пожалуй, и на свете не было бы, но я жалею свое несчастное я, проклинаю свой несчастный характер, свою проклятую судьбу, что раньше времени сделала меня стариком. И *так* прожить свою молодость! Так. . . о господи! Будь же ты проклята, наука, будь проклято всякое знание. . . Не хочу быть умным! Хочу быть Арх<ангельским>, Строевым,⁵⁶ кем угодно, но только не иссушенным знанием и опытом человеком, к<отор>ому все известно, к<оторы>й надо всем смеется, который и в самой могиле видит лишь вещь, над которой можно посмеяться или к<отор>ую можно эксплуатировать. Знаете ли вы, вы, люди, знающие, что такое труд производительный и непроизводительный, знаете ли вы, что такое значит томиться жаждой чувства любви, желанием почувствовать возле себя молодое существо, полное жизни и желаний, полное красоты и гармонии, — знаете ли вы это? Эх, да отстаньте вы от меня, призраки недавнего прошлого! Прочти это один из вас — и он скажет: «легкомыслие, неразвитость. . .» и т. д. — а знаете: я вас всех, со всем вашим развитием готов послать к черту за один только поцелуй Женички. Поцелуй — да, по-вашему, это обнюхиванье, а, по моему, в этом поцелуе скрыта вся прелесть мира, вся мудрость существования, вся субстанция философов, весь пессимизм Гартманов⁵⁷ — все, все!

Зиночка, не думай, что я не люблю тебя: я тебя люблю, сильно люблю — но я уже не могу о тебе *мечтать*!

И вот часто во мне пробуждается *старый* человек. Как подумаешь, чем все это кончится, к чему ведут меня эта водка, эти «измены». Как вспомнишь о том, что дальше ожидает та же несчастная борьба за жизнь, тот же Вас<ильевский> остров, те же фонари, улицы, люди, те же часы страданий и минуты кажущегося счастья, — так, ей-богу, только

один выход вижу из этой дребе(де)ни: пуля! Пуля, пуля и пуля! Нельзя мне, видимо, ее избежать... Наплевать! Зато уж повеселимся!..

20 декабря. Пятница.

Да, действительно, заключение всего лучше. Весь я в нем сказался. Заведешь путаницу в жизни и в душе, и вместо того чтобы распутать ее, решаешься лучше разрубить узел. Оно и легче и спокойнее. Чувствую, давно чувствую, что слишком уже далеко зашел я с водкой и что с каждым лишним днем, проведенным так, как я его провожу, я быстро подвигаюсь к одному из трех концов: сумасшествию, самоубийству или полному нравственному падению. Знаю, что к нему приближает меня каждая выпитая рюмка, каждая мысль, подобная всем этим, — знаю все это — продолжаю выпивать новые рюмки и мыслить старые мысли. Да и что ж на самом деле? Умирать так умирать. Ведь слишком уж по-детски выходит — думать, что от лишнего дня или года жизни тебе лучше будет. Наоборот, много хуже. Как и что ни говори, а быть человеком и жить — очень унижительное занятие. Многие живут, весь свой век ни разу не задумавшись над тем, [что заключается] сколько противоречий, сколько глубокого смысла или великой бессмыслицы, сколько смешного и грустного заключается в этих немногих словах: я человек и живу. И благо этим людям. И для них лишний год жизни — важная вещь. Они не спрашивают природу: зачем ты устроила эту глупость? зачем я буду жить, если я должен умереть? а вместо того стараются воровским манером оттягать хоть один лишний денек, хоть один час. Бедные! им хочется пожить... Как же! мало ли остается у них вопросов, которые нужно обязательно решать: тут вопрос о том, как из мужика сделать барина, там — как устроить «общий харч»... Да мало ли этих вопросов? — и не перечтешь.

21 декабря. Суббота.

До чего я опустил — ужас! Так часто уличать себя в пошлости, так часто ловить себя на глупости, как я это делаю — хоть кого до тоски доведет. Прежде у меня был какой-то такт, который не позволял мне ни сказать, ни сделать ничего такого, за что бы после я мог краснеть; теперь же я постоянно говорю и делаю такие вещи, воспоминание о которых бросает меня в краску. И как скучен, нестерпимо скучен стал я; какая ненаходчивость, какое воловье тупоумие, какие жалкие остатки остроумия, которыми когда-то

я наиболее гордился... И куда все это ушло? Прежде моя речь доставляла мне удовольствие; теперь же стоит мне заговорить, чтобы сейчас же опротиветь самому себе. Одно и то же, одно и то же! Бесконечные вариации на тему «скучно жить на свете», бесконечное нытье, бесконечная скука... Хоть бы какая-нибудь новая нотка проскользнула в этом умопомрачающем концерте однообразной тоски и скуки. Поневолле с удовольствием приносишь в жертву водке остатную силу и жизнь, водке, к(отор)ая хоть на час, хоть на минуту делает меня иным, вливает в меня новую жизнь, делает меня живым, бодрым, остроумным.

И хотя водка мне противна, противен ее вкус, противна сама процедура питья и опьянения, я все ж таки в каждую минуту готов пить ее, каждую минуту думаю о ней, моей последней возлюбленной. А денег нет — совсем нет. Такая вокруг меня бедность, такая нужда, такая тоскливая безысходная нужда, что копейка даже — и то является капиталом. И от этой нужды еще больше тянет к водке.

23 декабря. Понедельник.

К счастью, хоть через день, но пить приходится. В субботу пил много, нынче пил мало (сравнительно), но все-таки пил. Жалко вот только, что чем дальше, тем больше приходится увеличивать порции для произведения известного состояния. Но закон неумолим. Ощущения возрастают, как логарифм вызвавшего их возбуждения.

А все-таки лучше, много лучше, как выпьешь. Светлеет в голове, светлее становится поганая жизнь. Цель жизни, зачем, к чему, что я — все эти вопросы уходят куда-то далеко, далеко. Остается лишь человек-животное, жаждущее жизни, любви, поцелуев...

Не прозы любви хочу я, а ее поэзии. Хочу, как прежде, волноваться от одного взгляда, приходиться в восторг или отчаяние от одного слова. Хочу, чтоб один, украдкой сорванный поцелуй заставлял по-прежнему не спать ночи, мечтать о другом поцелуе... не больше! Какой славный я был тогда, когда при мысли о поцелуе у меня не являлось представления о акте, о сопровождающих его сладострастных ощущениях. Поцелуй! все в этом поцелуе, вся жизнь, вся радость этой жизни... А теперь: поцелуй!.. а дальше? дальше — корсет, а там... и т. д. Как это гадко. Понятно поэтому, что когда я хочу хоть на миг стать юным и чистым, я думаю не о Зин(аиде), а о той же Женичке. Да, и только в любви к такой, совершенно чистой девушке, на которой нет следов тысячи поцелуев, девственное тело которой не запятнано еще прикос-

новением ничьих рук, я могу — на время, конечно, — найти облегчение, найти то, что даст мне силу жить.

У меня много воспоминаний; есть среди них воспоминания о разных ночах, проведенных в бардаках или с «любовницами», в которых прежде у меня недостатка не было, но редко моя мысль останавливается на них. Останавливается тогда, когда, после долгого воздержания, начинает волноваться кровь и требовать удовлетворения половое чувство. Да и останавливается-то не на том, что представляет самую суть, а на разных несущественных обстоятельствах, предшествовавших сути: как-то я стоял полчаса на холодном полу и выжидал, пока заснет нянька и я могу пойти к кормилице, и т. п. Большинство же воспоминаний совсем иного свойства. Положим, они всегда, прямо или косвенно, касаются женщин и любви, но «суть» в них совершенно отсутствует. Вспоминаются такие вещи, как пожатие руки, прикосновение руки, краска на лице, а еще чаще вспоминается какой-нибудь момент, в который я испытывал какое-нибудь, *редкое*, чувство. Здесь «суть» совсем уж далеко. Напр(имер), до сих пор ясна в моей голове картинка: сад, музыка, толпа, я иду с Зин(аидой), одетой в какое-то черное, длинное пальто. Мало ли раз ходил я с З(инаидой) и мало ли в каких костюмах она бывала, а не помню я ни одной из этих прогулок, кроме этой. А эту так помню, как будто дело вчера было. И в моих воспоминаниях жизнь делится на периоды и каждому периоду соответствует известная картинка или какой-нибудь мотив вальса, польки или чего-нибудь под(обного). Обязательно мотив, без него даже воспоминаний нет. И стоит мне вспомнить какой-нибудь из таких мотивов — и я разом переносюсь в то прошлое, к которому он относится. Я вспоминаю не лица, не обстановку — я вспоминаю и вновь переживаю *то чувство*, которое я тогда испытывал.⁵⁸ И вот в этих чувствах все дело. Странные какие-то чувства вспоминаются, даже названия им не подыщешь — но только одно общее есть в них: это общее я называю поэзией. Иначе трудно охарактеризовать это общее. Как будто не та жизнь, не те люди — как будто все это окрашено в какой-то особый цвет: такой загадочный, неопределенный. Чувство, которое обнимает весь мир, желания, самому непонятные, — это главное. Вспоминаются именно те чувства и желания, к(отор)ые я не мог или не хотел проанализировать. Хочу, но чего, не знаю; чувствую, но что, не сумею сказать. Вот почему я называю их поэтическими, или, по-научному, эмоциональными. И этих самых чувств хочу я теперь. Хочу, как прежде, желать увидеть девушку, испытывать при виде ее какое-то чувство, которому я не могу дать имени, какие-то желания, о которых я не знаю, чего они ка-

саются... И это возможно для меня тогда только, когда я пьян, когда я потерял способность анализа, когда меня не тянет, по привычке, дать имя каждому возникающему во мне чувству. Вот, напр<имер>, когда у меня были гости, была Ж<еничка>, и я был пьян. Меня тянуло быть возле нее, говорить с ней, пожимать ей руки — но зачем это, что значит это «тянуло» — я не думал, а чувствовал себя именно так, как хочу чувствовать, молодым, юным. Я могу, конечно, и не пьяный отрешиться от самоанализа и пр<оч>., но для этого нужно сильно полюбить, что ли — а на это я, кажется, уже не способен. Итак, будем жить, Л<еонид> Н<иколаевич>, употребим все наши силы на добычу водки, отдадим за водку все: здоровье, честь, самоуважение — но только будем хоть на минуту человеком, а не счетной машиной. Dixi.^д

24 декабря. 12 <час>, вечер.

Настроение меняется. Великое за это спасибо матушке природе. Скука весь день, скука начало вечера — а вот сейчас скуки нет. Отчего была скука — знаю; куда она делась, отчего прошла — не знаю. Не произошло ничего веселого. Положение во всех статьях то же, что и днем. Люди вокруг те же, что и всегда, — а я не тот. Отчего я не тот? Не знаю. Веселья у меня нет — это бы уж слишком, но нет тоски и скуки — и этого довольно. Знаю момент, с которого прошла скука. Это — когда я задержал в своей руке руку Ж<енички> и пожал ее. Но причина не в этом пожатии. Люблю ли я сейчас Ж<еничку> или нет? Нет. (Люблю — в смысле: испытываю ли то же чувство, что и раньше.) Да, раньше «любил», а теперь нет. Она кажется мне менее привлекательной, чем раньше. Я не испытываю неодолимого желания целовать ее, ее руки, такого неодолимого, что я насилу мог сдерживаться, чтоб не привести его в исполнение при посторонних; а если бы испытал хоть на минуту наедине с ней, я не удержался бы. Сейчас же я тоже могу поцеловать ее, но для этого мне нужно употребить всю силу воли, именно^е чтоб преодолеть известный страх, чувство стыдливости и уважения. Теперь я могу насиловать свою природу, руководясь тем, что после мне будет приятно, а тогда я, наоборот, только мог последовать ей. У меня не было соображения о том, будет это мне приятно или нет; поцеловать для меня было так же необходимо и естественно, как выпить стакан воды, когда мне хочется пить. Не было также мысли о том, хорошо это или

^д Я сказал (лат.).

^е Далее не читается одно слово вследствие дефекта текста.

дурно; зачем это, чем кончится и т. д. — именно тех вопросов, которые тормозят теперь волю. Хочу — и только. И мне неприятно, что я не могу привести в исполнение своего «хотения», и я готов употребить все старания, чтоб сделать то, что я *хочу*. Да, вот оно настоящее-то «хотеть». Не чета моему всегдашнему. И вот именно тех минут жажду я, в к(отор)ые у меня было бы «хотеть». Не моего всегдашнего, гамлетовского: «хотел бы», а именно этого: «хочу», равнозначущего с «могу».

1 января 1892 г. 4 часа ночи.

Все время пью и безобразничаю. Что я делал вчера у Подобед — и вспомнить стыдно. Главное, ничего не помню. И весь нынешний день томит неприятное чувство, в особенности при мысли, что своим поведением я оттолкнул от себя Ж(еничку), которая решительно нравится мне. Вот уже больше двух лет ни одна барышня так не нравилась, как она. Вчера я говорил ей, что она мне страшно нравится, целовал ей руки — и боюсь только того, что она подумает, будто это спьяну. А я, трезвый, сейчас отдал бы жизнь за ее поцелуй. Мне в ней нравится именно то, что она совершенно не *тронутая*.

2 января. Среда.

Сейчас были у меня гости: Дмитриевы, Ильин, Подобед и Архангельский. Вышло это нечаянно. Хотел быть один Дмитриев, а вместо этого набралось столько народу. Среди всех этих было две, на которые я должен был обращать свое внимание: одна Любочка, быть с которой обязывает меня начатая с нею игра,⁵⁹ и Ж(еничка), к которой меня тянет сердце. Я хотел поделить поровну, но Л(юбочка) корчила из себя неприступность — поэтому за вечер я не сказал с ней двух слов и все свое внимание обратил на Ж(еничку). Странная вещь происходит со мною. Я всегда любил и люблю общество. Всегда *несколько* для меня дороже *одной*. Всегда пленял меня этот шум оживленных голосов, этот разговор, теряющийся в общем шуме, но сегодня ничего этого не хотел я. Хотел я одного: быть вдвоем с Ж(еничкой), говорить с ней — и только. Говорить — про остальное я даже не осмеливался думать. А когда, при игре в фанты, Арх(ангельский) поцеловал ей руку, у меня сжалось сердце. Все время, весь вечер меня терзала мысль — и от нее я был скучен страшно, — что для Ж(енички) я ничем не отличаюсь от других, что она смотрит на меня так же, как и на Ильина, что мое

пожатие для нее не важнее пожатия руки Ильина, что, одним словом, она не любит меня. Терзало меня и то обстоятельство, что я ничем не могу выразить ей своей любви, что нет во мне ничего такого, что дало бы мне перевес над другими. Да, нет, ничего нет. Чем я интереснее того же Ильина? Разговор мой скучен, однообразен, наружность моя не лучше или немногим лучше наружности Ильина. Но ведь не в наружности дело. Дело в словах, а слов у меня теперь нету. . .

И как скучно было мне весь вечер. Не мог говорить, играть в эти глупые игры, хотел одного. . .

Расскажу кстати, в чем заключается начатая мною игра с Дмит<риевой>. Встретила она меня с великой радостью. Дальше пошло хуже; но на первый день Р<ождества> я был, пьяный, у них, целовал без конца А.,⁶⁰ объяснял с ней в любви и т. д. Она обещала прийти в пятницу, но не пришла, поэтому я играл роль, а отчасти на самом деле представлял собой все время обиженного. Любви к ней не чувствую ни малейшей; не нравится она мне ни копейки — но я не могу выносить, когда мне предпочитают другого, не могу даже выносить мысли, что *мне могут предпочесть другого*. Вот поэтому, не чувствуя любви, я в то же время прилагаю все старания, чтоб предпочтение было отдано мне. Напр<имер>, я нравлюсь, и сильно, некой Овечкиной, довольно славной барышне, и хотя она мне не нравится, я тем не менее стараюсь обратить на себя ее внимание, когда мне почему-либо покажется, что ей приятней говорить с Ильиным, чем со мной.

А последняя мысль все-таки о Ж<еничке>. Как мне хочется, чтоб поскорей настало завтра, чтоб поскорей наступил тот миг, когда я скажу ей простую фразу: я вас люблю. . .

А Зинаида? Зинаиду я люблю, люблю, как люблю мать [может быть] и даже, может быть, нежней.

10 января. Пятница.

Много событий произошло с того времени, как я последний раз писал в дневнике. Не стану говорить о них — скучно говорить о прошлом, когда есть настоящее. Упомяну только об одном. Мне пришлось — и не раз — говорить Ж<еничке> о своей любви. К несчастью, в оба раза обстановка была настолько неудобной, что пришлось ограничиться одними словами, а с такими людьми, как Ж<еничка>, слова, без достаточного подкрепления жестами, не имеют никакого значения. И в самом деле: она ответила, что я ей *очень* нравлюсь, и вместе с тем до сих пор мы держимся друг с другом как малознакомые люди. Все обстановка проклятая! Благодаря

маменьке и остальным никогда вдвоем остаться не придется. А то остаться бы хоть раз наедине. . . Она, по некоторым признакам, несомненно *любит* меня и не с ее стороны препятствия.

Да и я, кажется, не на шутку влюбился. Все время думаю о ней, нигде кроме них не бываю, везде, где нет ее, чувствую себя скучно, жалею о том, что придется уезжать из Орла и не видеть ее, и т. д. Неужели на самом деле не видеть? Да ведь это тоска будет! Милая! Как хочется мне прижать к губам твою ручку, твои горячие щечки. Немудрено, что сейчас, засыпая, я буду думать о ней, да и во сне ее же увижу.

Милый мой друг, дорогая, желанная,
Все о тебе моя мысль постоянная! . . .⁶¹

12 января.

Была опять Дмитриева, была Подобед, была Ж⟨еничка⟩. Опять тоска, опять скука. Нет, не скука, — тоска, мертвящая тоска. Чего-то жаль, отчего-то сердце сжимается, на глаза навертываются слезы. И все это могло пройти от одного поцелуя Ж⟨енички⟩. Но его не было, и, боюсь, не будет. Боюсь себя, своей нерешительности, своей опрометчивости, как, напр⟨имер⟩, нынче. Простить себе не могу этого ответа. Чтоб я дал, чтоб вернуть к себе эту минуту. А она? думает обо мне сейчас? жалеет меня? желает ли того же, что я сейчас с такой силой желаю? Милая моя, голубочка, когда же это будет — и будет ли когда-нибудь? Будет. . .

24 января. Пятница.

Этот дневник останется недоконченным. Я не хочу брать его в Петербург, ибо там он неминуемо попадет в руки Зинаиды, а этого не должно быть. Она не должна знать моего увлечения Ж⟨еничкой⟩ именно потому, что это увлечение не оставило никаких следов в моей душе и несколько не повлияло на мое отношение к Зинаиде, а вместе с тем, если б З⟨инаида⟩ узнала, она была бы сильно огорчена. Посему я дневника не захвачу, но заведу новый, хотя это не совсем приятно.⁶²

Да, к Ж⟨еничке⟩ я совершенно хладнокровен и совершенно разочаровался в ней. Как это вышло и почему — долго рассказывать, да и не к чему. Важно одно: пропала мечта о настоящей любви. Когда же дождусь я этой любви, которая не исчезла бы от первого дунования действительности!

Вот я в Петербурге опять — и вот опять то, чего я так боялся и чего ждал. Один. Передо мною бутылка и рюмка. Я пишу, и после нескольких строчек иду прикладываться к бутылке. Дело кончится тем, что я, написавши много патетических глупостей, пьяный, едва добреду до кровати и засну мертвым сном пьяницы или трупа. Зачем это и отчего? Отвечу сперва на второе. Зинаида. Все из-за Зинаиды. Я приехал в Питер три дня тому назад и до сих пор не могу видеть ее как следует. Т. е. не могу даже остаться с ней один. Я в этом, конечно, не виноват, но и она тоже. У ней много дела. Она, в стремлении приносить пользу человечеству, взяла на себя какую-то срочную работу; она ходит на курсы; она имеет уроки; ей нынче нужно в оперу, завтра на вечер, послезавтра опять в оперу; а когда она сидит дома, к ней приходят ее обожатели поговорить об опере, работе или курсах. А я все жду! То жду долго, глядя в окошко, пока она придет с курсов, стою около печки и курю папиросу за папиросой, не в состоянии ничего больше делать; то жду у нее, сидя в углу и безутешно глядя вперед, пока она придет с тех же курсов; то хожу из угла в угол по комнате и отсчитываю минуты до конца ее урока; то, наконец, мечусь, как угорелый, не в состоянии дожидаться той минуты, когда уйдет ее приближенный и даст мне возможность хоть минуту побыть с ней наедине. А то, как вчера, сижу и с прискорбием замечаю, как летят одна за другой минуты того часа, который она имела милость подарить мне. Все жду — и огорчаюсь. А она огорчается и негодует, почему я огорчаюсь. И тот час, который мы сидим с ней вдвоем, мы посвящаем бесплодному, хотя интересному и горячему спору о том, кто виноват в этом споре. Да и вот сегодня, напр<имер>, она пошла в оперу, а я один. Но она не виновата. Она предлагала мне пойти, она умоляла меня об этом, а я не пошел, хотя и мог. Кто же виноват, что я один? Она даже не хотела *сама* идти, и *даже* сняла пальто, и хотя, конечно, не осталась, но все-таки показала этим, насколько желает меня видеть. И до тех пор уйти не хотела, пока я не дал ей чего-то вроде обещания — она видела, что это не обещание — что я завтра приду. . . не к ней, ей по обыкновению некогда: срочная работа, вечер в Институте и т. д., а приду проводить ее от дому до Публичной библиотеки. Наконец, она требовала от меня, просила, чтоб я, если не хочу идти с ней в оперу, не пил дома водки, т. е., другими словами, рекомендовала мне пойти и броситься головой в прорубь, пот<ому> что мне, трезвому, кроме этого ничего не оставалось бы. . . О, она меня любит!

А я, неблагодарный, чем я плачу за ее любовь? В оперу не пошел, водку пью, и даже завтра к ней не пойду, чем заставлю ее или совершить страшное преступление, отказаться от работы, никому не нужной, или совершить великий подвиг: отказаться от меня, тоже никому не нужного. Да, интересно: придет она завтра? Ну, если не придет. . .

5 февраля. Среда.

Не пришла. Опять один и водка.⁶³ Только вчера не так скверно чувствовалось. И водка пила, и писалось — а теперь проглотить рюмку страшный труд. Отвратительно. И вчера выпил я много, а был совсем трезв, голова работала превосходно — а сейчас выпил 3 рюмки и совсем одурел. Не пьян, а именно одурел. Это, должно быть, отчасти оттого, что я слегка нездоров. Только мыслей в голове нет, а что-то чудное. Какие-то странные чувства я испытываю. То вот минуту тому назад мне показалось, что я не я, т. е. собственно как будто я стою, а еще другое «я» смотрит на меня. То показалось на миг, что я лишен всякой чувствительности; будто от всех впечатлений меня отделяет какая-то стена. Вообще очень странно. И завтра вечер проведу так же, вернее, еще хуже. К ней я ни за что не пойду, а она не придет. У ней завтра тоже, кажется, дело есть. Нынче она сопровождает Наталью в Горный на бал, а завтра еще куда-то. Эх, *(нрзб.)* . . . Ведь подумать только, что она делает, где ее любовь. А говорит, что любит, да и меня еще в недостатке любви упрекает. По ее мнению, любовь есть сплошная жертва, а я, как известно, ни одной жертвы ей не принес. А она вот ежеминутно приносит себя в жертву моему ненасытному тиранству. Но, конечно, всему есть пределы. Не может же она из-за меня совершенно отказаться от всяких удовольствий. Это значит, если согласиться с моими требованиями, извольте весь вечер *сидеть со мной*, и никакого *удовольствия не видеть*. Конечно, Зиночка, без сомнения так. Какое удовольствие сидеть со мной и лизаться, как она выражается, или говорить о таких вещах, которые никакого интересу не заключают. Положим, мы не виделись два месяца — но что за важность: времени впереди много, поспеем наговориться и нализаться. Опять-таки, с другой стороны, у меня кроме нее никого здесь, не только близких, но и просто знакомых, к кому бы я мог пойти, нет, и потому, если она идет куда-нибудь, то я должен вечер сидеть один, а как тебе, любезный читатель, так и ей, известно, что значит для меня сидеть одному.

(Оказывается, одурел я не оттого, что пил, а оттого, что *мало* пил.) Теперь, когда я выпил как раз столько, чтобы в другое

время с ног свалиться, я нахожу в себе способность мыслить и писать поистине удивительную. Мыслей столько, что даже писать трудно, не уследишь. И притом: в письме все это бледно чересчур выходит. Вот здесь, по тетради, к сожалению, незаметно антрактов, т. е. тех десяти минут, когда я, выпивши рюмку водки (собственно не рюмку — я сообразил, что из стакана пить лучше), хожу по несколько времени по комнате, мыслю великие мысли (к предмету нынешнего писания почти не относящиеся) и затем, нагулявшись и накурившись, сажусь продолжать дневник. Как жаль, что я задним только умом крепок. Теперь, когда водки уже почти ничего нет, я после каждой рюмки буду оставлять красную строку. Таким образом, можно будет проследить, насколько возрастают мои умственные способности... и сумасшествие. (Да, а сейчас я совсем трезв — в обыденном смысле слова — и только один признак опьянения есть: страшный шум в ушах.)

Здесь, читатель, красная строка. Понимаешь? Ах, водка, водка! Великое спасибо тому, кто тебя выдумал. Ну чтоб делал я, если б тебя не было? Вот, до тех пор, пока я начал пить (т. е. сегодня), я два часа ходил из угла в угол, и в моем мозгу была только одна мысль, как молотом бившая по натянутым нервам: «Придет Зинаида или нет?» И от этой мысли или оттого, что она была *одна*, — я чувствовал, как мало-помалу исчезает то, что отличает здравого умом от сумасшедшего.

(Красная строка; больше об этом говорить не буду; сам понимаешь.)

Я чувствовал, как шаг за шагом мои несчастные, разброшенные мысли заволакивала какая-то млечная пелена; как из этого неопределенного, ужас наводящего тумана выползала все ярче и ярче эта проклятая мысль: придет или нет? И все, куда ни обращал я глаза свои, все для меня служило олицетворением этой мысли. Плетеный, прорванный стул заставлял меня думать: вот здесь сидела Зинаида — придет она или нет? Появлялись на сцену непроизвольные движения: глаза, устремленные бессмысленно на пол, невольно поднимались и глядели в окно, нет ли там, на дворе, Зинаиды, спешащей ко мне. Слух, давно отказавшийся воспринимать все звуки, до ребячьего крика за стеной включительно, невольно настораживался и становился изумительно тонким, когда в дверях раздавался звонок и шаги. А сердце, глупое, бессмысленное сердце! Кто заставлял тебя так стремительно биться при этом <нрзб.> звонке? Я ли не старался всей силой моей воли сдержать твое бесцельное биение, я ли до боли не прижимал рук к тому месту, где ты колотилось?

А какая мертвая тишина, какое глубокое безмолвие наступало после этой жизни духа и тела, когда незнакомые шаги, оставляя в стороне мою комнату, глухо замирали вдали! Как тихо и пусто все становилось. Сердце не бьется, глаза, не мигая, в окошко глядят — и печка, одна вечно жаркая печка, свой отблеск кровавый на стены кидает. . .

(Я пью без закуски, а то не удастся вконец опьянеть).

А там в это время она, Зинаида, «жуирует» жизнью. Свет, музыка, шум в этом зале. Вокруг все студенты: болтают, и взоры огнем вдохновения горят, и «Ах, как было б славно хоть миг на груди этой всласть полежать!» — так мыслит студентик беспечный, разговор заведя бесконечный о том, что избито и старо, как мир. «Вы знали такого? Ах как он трудился для пользы отчизны своей! Три раза был обыск — два раза он сдуру попался, а третий — в Сибирь угодил. Но это не важно. Идея бессмертна».

«На смену погибшему даром свежие силы сберутся. Хотя, без сомненья, не в их это силах — гнет свергнуть могучий — но капля и камень долбит».

— И вы, Зинаида Николаевна, конечно, к великому делу свободы труды уж давно приложили?

— О да, без сомненья! Я с утра до ночи тружуся! — с восторгом ему отвечает она. За этим рассказ: как ей предложить работать для тех, кого голод ужасный (Красная) ст(рока)) так сильно терзает, для бедных крестьян. (А эти крестьяне, коль правду сказать, не стесняясь, ей нужны как снег прошлогодний!) И что безобразней всего: не в голоде дело, не в этих крестьянах, а в том, что ему <нрзб.> захотелось, а ей жару некуда деть. И благо, коль в этих, невинных снаружи, но пакостных, время, беседах, пройдет. . . (Красная) с <трока>).

Однако я очень увлекся. Совсем не заметил, что вместо того чтоб последовательно рассказать, чем я недоволен в поведении Зинаиды, я стал, как Дурасов, преглупые вирши писать. Но я не виновен. Великого стоит труда мне удерживаться от этого проклятого «размера», который преследует каждое мое слово. А все от водки. Вот когда я действительно пьян. С трудом сознаю, о чем пишу. И только когда яркая, как молния, промелькнет мысль о Зинаиде, о том, как она сейчас преспокойно беседует с каким-нибудь наипохабнейшим студентом, забывая о том, что я в это время пью водку, другими словами смерть к себе <...>* <...> бился головой об стенку, головой, бедной головой, которая и так горит, как

* Текст обрывается — возможно, далее была вырвана страница. Следующий отрывок написан неровным почерком, свидетельствующим о крайнем возбуждении.

огонь; я рвал на себе волосы — посылаю тебе из них; прости, что немного: только всего и нашел, я рвал когтями грудь, к сожалению, тупыми, иначе б я тебе послал и крови своей — и несмотря на все это, чем я старался отвлечь себя от идеи разрушения, я не могу удержаться от нее. Господи, если ты есть, создатель, дай мне силу пережить! Ах как это глупо и подло. Будь проклято. . . Мамочка бедная, больная, забитая всем и всеми — и тобой, моя милая Зиночка, — мамочка, хоть ты дай мне силу, дай мне не убить тебя окончательно. . .

Вот теперь, Зиночка, я успокоился. Не много времени прошло, всего час один, но я до того стал спокоен и разумен, что вместе с тобою сознаю всю глупость и безобразия этого вырыванья волос и т. п. Но так как, деточка моя, я знаю наверное, что если ты завтра *не придешь*, я буду делать то же самое и даже, пожалуй, хуже, то я предупреждаю тебя об этом, дабы ты не сказала после, что я это сделал спьяну, т. е. именно то, что я сделаю завтра.⁶⁴ На всякий случай прощаюсь с тобой и желаю тебе всего лучшего. Желаю найти искомый идеал, желаю тебе скорее забыть меня и все те неприятности, которые в таком изобилии я тебе доставлял. И скажу тебе на прощанье, что я тебя сейчас ненавижу так сильно, как только могу. Но я думаю, что для тебя это не важно. Ты от природы счастливый человек: ты умеешь спать и забывать. Тебе впереди много увлечений еще предстоит, предстоит настоящая любовь со всеми ее радостями, предстоит прижимать к груди и забываться с другими. Прощай! О, если б ты знала, как я тебя сейчас ненавижу, когда вспомню, где ты и что ты. . .

Л. Андреев.⁶⁵

6 февраля. 9 ч(ас). вечера.

Она не пришла и сегодня. Значит, не любит, пот(ому) что, будь у нее хоть йота любви, она (бы) пришла, зная, как я мучаюсь. Весь нынешний день я как сумасшедший. Одна мысль и одно для нее выражение: придет или нет. Да, не любит. Значит, это правда. Что ж остается, где исход? Навсегда, значит, конечно все. Я один. Я не могу выразить словами, что неприятного заключается в этом «кончено» и «один» — только когда я подумаю об этом, у меня вырываются спазматические слезы. Как мало любила она меня! Неужели не могла за весь этот день найти 15 мин., чтоб забежать ко мне. Ведь это смешно. Меня отделяет от нее расстояние в 2 мин. ходьбы — и она не зашла. Не хочет, пот(ому) что не любит. Неужели могут после этого продолжаться наши отношения? Нет, не могут. . . Не могут? А как сильно, оказывается, люблю я ее. Весь мир в ней, в ее любви.

- ¹ Источник цитаты не установлен. Этот же эпиграф находится на обложке II части второго тома, которая хранится в ИРЛИ (ф. 9, оп. 1, № 16).
- ² В августе 1891 г. Л. Андреев был зачислен на юридический факультет Петербургского университета, откуда, как явствует из выданного ему свидетельства, «в июне месяце 1893 г. за невзнос платы» был уволен (см.: *Фатов Н. Н.* Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 281). В университете он имел «два зачетных полугодия и одно незаченное».
- ³ Плохая характеристика, о которой говорит Андреев, была выдана ему в связи с тем, что в апреле 1891 г., перед окончанием гимназии, на него было подано прошение мировому от некоего Кутепова «о буйстве, оскорблениях и угрозах», что грозило исключением из гимназии. Дело рассматривалось в суде, и Андреев был приговорен к штрафу в 20 руб. Хлопотами директора гимназии И. М. Белоруссова Андрееву удалось получить аттестат, в котором его поведение было оценено как «отличное» (см. об этом в письмах к З. Н. Сибилевой от 2 апреля, 30 мая и 8 июня 1891 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 120—134 об.), что давало ему право поступать в университет, однако хорошую характеристику получить, очевидно, не удалось.
- ⁴ «Народ кругом отвратительный, — писал Андреев 1 сентября 1891 г. своей орловской знакомой Л. Н. Дмитриевой, — не с кем слова молвить. А самое скверное — это полиция. Полиция, полиция и полиция. Плюнуть нельзя без того, чтобы не попасть в городского или дворника, который здесь также составляет полицейскую власть, и притом очень важную, так как на нем лежит обязанность наблюдать за жильцами» (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2625).
- ⁵ Т. е. Зинаида Николаевна Сибилева. О ней см. в предисловии к публикации.
- ⁶ Пансион Гедройц находился на 6-й линии Васильевского острова против Николаевского моста (ныне мост Лейтенанта Шмидта), в доме 25/1.
- ⁷ В архиве Орловского гос. литературного музея среди писем Андреева к Л. Н. Дмитриевой сохранился отдельный листок, относящийся, судя по содержанию, к одному из первых писем Андреева из Петербурга, где он указывает свой новый адрес: Васильевский остров, Малый проспект, д. 15, кв. 16.
- ⁸ Очевидно, имеется в виду Александр Александрович Бодиско, общий знакомый Андреева и З. Н. Сибилевой, студент.
- ⁹ В письме к Сибилевой от 27 июня 1890 г. Андреев сообщал, что купил «столь желанный велосипед, пробовал несколько раз, учась кататься, сломать себе шею» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 5 об.).
- ¹⁰ Вера Игнатьевна Гедройц — подруга З. Н. Сибилевой, очевидно дочь владельца пансиона на Васильевском острове, где некоторое время жил Андреев. Дмитрий Петрович Невстроев (?) — петербургский знакомый Андреева и Сибилевой, студент физико-математического факультета.
- ¹¹ Лицо неустановленное.
- ¹² В. Н. Сибилева — сестра З. Н. Сибилевой.
- ¹³ «Петербургская жизнь писателя, — писал один из первых биографов Андреева, основываясь на его устных рассказах, — как раз совпала с теми годами, когда среди учащейся молодежи и интеллигенции появились первые марксисты, и с их появлением началась идейная война с народничеством и с «субъективизмом» во главе с Н. К. Михайловским. Марксизм того времени еще не захватывал широких кружков молодежи, а ютился в интимных группах. Сочинения Маркса и Энгельса изучались в кружках. К одному из таких кружков примкнул и Андреев, но его отношение к марксистам носило характер случайных

- встреч. Это не помешало ему самостоятельно изучить полит. экономию, и знал он науку о народном хозяйстве основательно (<...> Андреев всегда старался избежать кружкового воздействия» (*Брусянин В. В.* Леонид Андреев. Жизнь и творчество. М., 1912. С. 46). В письмах и дневниках Андреева встречаются многочисленные негативные отзывы о студенческих кружках; возможно, он посещал не только марксистские, но и народнические кружки.
- ¹⁴ Любовь Николаевна Дмитриева (в замужестве Тухина) — близкий друг Андреева. Сохранилось 10 писем его к ней, которые хранятся в Орловском музее. «Если мне удастся наконец стать на ноги, — читаем в письме от 28 апреля 1892 г., — половиной этого я буду обязан Вам. Не в деньгах дело — дело в том, что своей постоянной готовностью помочь мне Вы были для меня и будете нравственной опорой» (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2634).
- ¹⁵ Андреев был знаком с двумя сестрами Васильевыми — Софьей Ивановой и Зинаидой Ивановой. Упомянутое письмо было, очевидно, от Софьи. Об отношениях с Васильевыми Андреев писал во второй части своего дневника (ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, № 16).
- ¹⁶ Мать Л. Н. Андреева, Анастасия Николаевна (урожд. Пацковская), была одним из наиболее близких ему людей; без нее, по воспоминаниям брата Андреева, Павла, «Леонид никогда не прочитывал (<...> ни одного своего нового рассказа, повести или драмы. Она делала такие ценные замечания, что Леонид часто, под влиянием ее указаний, исправлял то или другое место (<...> а то и все переделывал заново». Любовь же к Леониду, которого она выделяла среди своих детей особенно, «доходила у нее иногда прямо-таки до курьезов» (*Андреев П. Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве // Литературная мысль. Л., 1925. Вып. 3. С. 177—181). После смерти Леонида она несколько раз покушалась на самоубийство; умерла она 2 декабря 1920 г.
- ¹⁷ Андреев Николай Иванович (1847—1889) умер накануне переходных экзаменов Леонида из 6-го в 7-й класс. Л. Андрееву было тогда 17 лет, «с этого дня очень резко изменилась и вся дальнейшая жизнь Леонида» (*Андреев П. Н.* Воспоминания о Леониде Андрееве. С. 150).
- ¹⁸ Ср. с тем, что писал об этом посещении кружка Андреев Л. Н. Дмитриевой от 30 сентября 1891 г.: «Хотя я попал в один студенческий кружок (это между нами), но чувствую себя там совсем чужим, да и едва ли когда-нибудь своим почувствую — уж больно наши взгляды на жизнь расходятся. Они народ деятельный, верящий и имеющий свои идеалы, а мой идеал — поскорей добраться до Болховского или Крестительского кладбища» (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2627, л. 3 об.).
- ¹⁹ Вероятно, имеется в виду название популярного тогда в России романа польского писателя Г. Сенкевича «Без догмата», перевод которого был опубликован в 1890 г. в журнале «Русская мысль». Роман написан в форме дневника молодого человека, разочаровавшегося в общественных идеалах и сосредоточившегося на анализе собственного «я». Любопытно сравнить приведенное рассуждение с откликом Л. Андреева на статью о его творчестве критика В. Г. Сахновского «Писатель без догмата» (Новая жизнь. М., 1916. Кн. 1) в письме его к С. С. Голушеву от 12 декабря 1916 (?) г.: «Без догмата! — это, конечно, так... но куда ты денешь мою героическую личность, мой „Океан“, моего Лоренцо? Наконец — „Тота“? Или семь повешенных? Или „Тьму“?» (Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 131).
- ²⁰ Уже после окончания Московского университета в начале 1899 г. Л. Андреев провел два месяца в лечебнице для лечения неврастении. Впечатления от этого пребывания отразились в рассказе «Жили-были».
- ²¹ Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, профессор Петер-

- бургского университета, автор работ по истории Великой французской революции и истории Западной Европы.
- 22 После отъезда З. Н. Сибилевой в Петербург Андреев писал: «... ненавижу я твой Петербург страшно и все симпатии мои на стороне Москвы, гостеприимной и радушной. Москвы, где и все товарищи мои, где и побунтовать можно и попить и погулять (<...> И начальства в Москве меньше и не такое начальство, как в Питере, где студентов начеку держат» (письмо от 30 октября 1890 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 22).
- 23 Очевидно, имеется в виду М. С. Дурасов, с которым Андреев учился в Орловской гимназии.
- 24 О ком идет речь, установить не удалось.
- 25 В-к — возможно, студент по фамилии Веншток, сосланный впоследствии, по воспоминаниям П. Н. Андреева, в Сибирь. См.: Литературная мысль. Л., 1925. Т. 3. С. 168.
- 26 Лицо неустановленное.
- 27 Речь идет о денежном переводе Любови Николаевны Дмитриевой, которая неоднократно оказывала Андрееву материальную помощь в годы учебы в Петербургском университете. Ответное письмо Андреева к Л. Н. Дмитриевой от 30 сентября 1891 г. хранится в Орловском гос. литературном музее И. С. Тургенева (основной фонд, № 2627).
- 28 Очевидно, имеется в виду так называемое философское сочинение Андреева, задуманное им в гимназии и озаглавленное «Проклятые вопросы». Набросок его содержится в гимназическом дневнике Андреева, написанном весной 1890 г. В нем он рассуждал о социальном устройстве общества, основанном на природном неравенстве людей, об эгоизме как главном движущем факторе человеческих поступков и т. п. (подробнее о нем см.: *Zviguilski A.* P. 150—151).
- 29 Еланский Алексей Петрович — одноклассник Андреева по Орловской гимназии, учился с ним на юридическом факультете Петербургского университета.
- 30 См. примеч. 28.
- 31 Арбузов Алексей Петрович — приятель Андреева в гимназические годы, затем учился в Москве, возможно в военном заведении. Переписка с Арбузовым неизвестна.
- 32 Ильин Михаил Иванович (?) — одноклассник Андреева по Орловской гимназии. См. о нем в письме Андреева к З. Н. Сибилевой от 20 января 1891 г. (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 34).
- 33 Прозвище Ильина.
- 34 Кто имеется в виду, неясно.
- 35 Речь идет о Николае Евграфовиче Сибилеве, отце Зинаиды, орловском адвокате, который умер 20 февраля 1891 г. Подробное описание смерти Н. Е. Сибилева, неприязненно относившегося к Андрееву, содержится в письме к Сибилевой от 24 февраля 1891 г. (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 44—46).
- 36 Об отношении Андреева к Писареву см. в предисловии к публикации. В своих воспоминаниях П. Н. Андреев приводит следующую выдержку из дневника Андреева от 20 марта 1897 г.: «Возмущаются у нас деспотизмом, с криком указывают на жертв бесправия — дурачье. Вот кто деспот, вот кто наш враг, наш убийца — жизнь проклятая. Как бессилён, как жалок человек» (Литературная мысль. Л., 1925. Вып. 3. С. 171). О скептическом отношении Андреева к научной мысли и знанию писалось много, приведем характерную запись из его письма к З. Н. Сибилевой от 30 октября 1890 г.: «К черту разум, к черту развитие с его дурацкими требованиями и претензиями. Будь животным, как и должно, ешь, пей, люби и веселись, пользуйся минутой и

- забывай о завтрашнем дне — вот философский камень, который я так глупо искал в книгах» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 22 об.).
- ³⁷ Возможно, речь идет о В. М. Никольском, с которым Андреев учился в Орловской гимназии.
- ³⁸ «Одинокий оппонент в товарищеских кружках, — писал об Андрееве В. В. Бруснянин, — в то время все еще был под влиянием Гартмана и Шопенгауэра, и это влияние делало его возражения пессимистическими, что, конечно, не могло нравиться пионерам марксизма» (*Бруснянин В. В.* Леонид Андреев. Жизнь и творчество. С. 47).
- ³⁹ Андреев не вполне точно цитирует стихотворение С. Я. Надсона «Нужно жить! Вот они, роковые слова...» 1885 г. (см.: *Надсон С. Я.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1962. С. 287).
- ⁴⁰ См. примеч. 7.
- ⁴¹ Эта запись в дневнике, как и некоторые другие, сделана Андреевым в нетрезвом состоянии.
- ⁴² Возможно, имеется в виду дневник, написанный в марте—июне 1890 г., который Андреев дал З. Н. Сибилевой с собой в Петербург (см. письмо от 23 июня 1890 г.: ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 3).
- ⁴³ Речь идет о Наталье Николаевне Сибилевой, сестре Зинаиды.
- ⁴⁴ Роман А. И. Эртеля (1855—1908) «Смена» был впервые напечатан в журнале «Русская мысль» в первой половине 1891 г. В нем на фоне широкой панорамы русской пореформенной жизни, с ее уходящими в прошлое «дворянскими гнездами» и наступлением капиталистических отношений в деревне, крахом народнических иллюзий части дворянской интеллигенции, показана судьба своего рода «лишнего человека», разорившегося наследника дворянской усадьбы Андрея Петровича Мансурова, испытывавшего немало горьких разочарований, прежде чем он погиб от случайной пули. Героиня, в которой Андреев усмотрел черты сходства с З. Н. Сибилевой, — Людмила Михайловна Горенская, ставшая причиной несчастий Мансурова и самоубийства влюбленного в нее студента Кретова.
- ⁴⁵ В письме Л. Н. Дмитриевой от 30 октября 1891 г. Андреев называет следующий адрес: Васильевский остров, 4-я линия, д. 23, кв. 8 (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2628, л. 3 об.).
- ⁴⁶ Речь идет о первом рассказе Андреева «В холоде и золоте», напечатанном 19 апреля 1892 г. в журнале «Звезда». Рассказ известен также под названием «Рассказ о голодном студенте» (см. о нем: *Иезуитова Л.* Первый рассказ Леонида Андреева//Русская литература. 1963. № 2. С. 183—187). Вспоминая свою жизнь на первом курсе Петербургского университета, Андреев писал: «Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я очень серьезно голодал и с отчаяния написал прескверный рассказ „О голодном студенте“. Из редакции „Недели“, куда я самольно отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой» (Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Фидлер. С. 30).
- ⁴⁷ Это письмо неизвестно.
- ⁴⁸ Лицо неустановленное.
- ⁴⁹ Лицо неустановленное.
- ⁵⁰ См. записи от 22 сентября и 30 октября 1891 г. в настоящем дневнике.
- ⁵¹ Ср. с тем, что писал Андреев З. Н. Сибилевой 13 февраля 1891 г.: «...целью своей жизни <я> поставил нечто другое: свободу, отчасти внешнюю, а преимущественно внутреннюю, свободу духа, которая дается изучением самого духа» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 2, № 26, л. 40 об.).
- ⁵² Очевидно, Андреев говорит о письме к Л. Н. Дмитриевой от 24 ноября

- 1891 г. (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, № 2630).. Письмо к Ильину неизвестно.
- ⁵³ О подробностях этого визита Н. Н. Сибилевой и Л. Н. Дмитриевой к матери Андреева он спрашивал Дмитриеву в письме от 24 ноября (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева), основной фонд, № 2630).
- ⁵⁴ Цитата восходит к популярной песне А. П. Серебрянского «Вино», задолго до опубликования (в 1906 г.) бытовавшей в многочисленных переработках. Слова из этой песни послужили заглавием пьесы Андреева «Дни нашей жизни» (указано Ю. К. Герасимовым). В песне и в дневнике Андреев цитирует один из устных вариантов песни (см.: Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1963. С. 532—533; ср. с текстом на с. 933), ставшей своего рода студенческим гимном.
- ⁵⁵ Имеется в виду Хлуденева Евгения Николаевна (настоящая фамилия Стрежелецкая) — воспитанница начальника Витебской железной дороги Н. П. Хлуденева. Случай на Рождество, который произошел у Андреева с Е. Н. Хлуденовой, лег в основу рассказа «Смех» (1901).
- ⁵⁶ Орловские знакомые Л. Андреева.
- ⁵⁷ По воспоминаниям товарища по гимназии В. А. Еловского, «еще в гимназические годы Л. Андреев читал модного тогда Гартмана, его «Философию бессознательного», и много говорил о нем в гимназии» (цит. по: *Фатов Н. Н.* Молодые годы Леонида Андреева. С. 240).
- ⁵⁸ Эта особенность памяти своеобразно отразилась во многих произведениях Андреева: «Жизнь человека», «Анатема», «Собачий вальс» и др.
- ⁵⁹ В письме к Л. Н. Дмитриевой от 5 января 1892 г. содержится объяснение по поводу этой вечеринки (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2631).
- ⁶⁰ В воспоминаниях двоюродной сестры Андреева Зои Николаевны Пацковской есть подробности события, отраженного в рассказе «Смех»: «Он был влюблен в одну девицу, Хлуденеву. Он сам был в маске и объяснялся ей в любви, а она смеялась. Еще он был неравнодушен к Архангельской, Елене Николаевне; она тоже была тут в нашей компании» (*Фатов Н. Н.* Молодые годы Леонида Андреева. С. 212).
- ⁶¹ Источник цитаты не установлен.
- ⁶² Следующую тетрадку дневника Андреев начал 26 марта 1892 г. (ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, № 16; опубликован впервые в газете «Орловский вестник» за 9 сентября 1895 г.).
- ⁶³ Один из ранних рассказов Андреева назывался «Он, она и водка».
- ⁶⁴ Андреев совершил попытку самоубийства 15 февраля 1892 г. 18 февраля он писал Л. Н. Дмитриевой из больницы св. Марии Магдалины: «Нахожусь я здесь с 16, вернее, с 15 февраля, именно с того самого часа, когда я имел глупость нанести себе рану ножом в бок. Глупость потому, что рана эта ниже всякой критики, нисколько не опасна и для своего излечения потребует не больше двух недель (...) я даже не знаю причин, знаю только одно, что я давно уже нахожусь в заколдованном кругу с единственным из него исходом — самоубийство» (Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2632). 5 апреля 1892 г., после возвращения из Орла в Петербург, Андреев запишет в дневнике: «Раскаяние, упреки совести, а с другой стороны мнимая или действительная невозможность изменить свое поведение, остановиться на наклонной плоскости — делали положение безвыходным» (ИРЛИ, ф. 9, оп. 1, № 16). Вскоре он успешно сдаст экзамены за второе полугодие, в жизни его наметится некоторый перелом, выразившийся прежде всего в «исчезновении пессимизма»: «Вопрос „к чему“ (...) вот уже с полгода не является совсем. Исчезновение его можно отчасти приписать знакомству с реальными бедствиями, отеснившими (...) бедствия метафизические. Благодаря исчезновению

вопроса «к чему?» потерял свою силу атеизм и прочие пакостные воззрения, служившие только иным выражением, проявлением этого ненавистного вопроса. Вторым важным признаком перерождения (<...>) является сознательное желание жизни. Начало являться оно уже давно, но урывками, а сплошным стало только после известной попытки. Наконец третьим служит желание работать...» (там же). А в письме от 28 апреля этого же года появятся строки, свидетельствующие о серьезных изменениях в жизни будущего писателя: «...рассказ мой будет напечатан. Это было моим первым опытом — и, к счастью, удачным. Теперь я с уверенностью последую своей склонности и займусь не на шутку писательством» (письмо к Л. Н. Дмитриевой см.: Орловский гос. литературный музей И. С. Тургенева, основной фонд, № 2634). Речь шла о рассказе «В холоде и золоте», появившемся в апрельском номере журнала «Звезда» за 1892 г. и положившем начало писательскому пути Леонида Андреева (см.: *Иезуитова Л. А.* Первый рассказ Леонида Андреева//Русская литература. 1963. № 2. С. 183—187).

⁶⁵ Подпись свидетельствует о том, что здесь Андреев, видимо, хотел закончить свой дневник. Возможно, он хотел отослать несколько страниц, вырванных из тетрадки, З. Н. Сибилевой в качестве прощального письма, однако не сделал этого. На этой странице виден карандашный автопортрет Андреева, сидящего за столом, на котором стоят бутылка и рюмка (см. фотокопию).